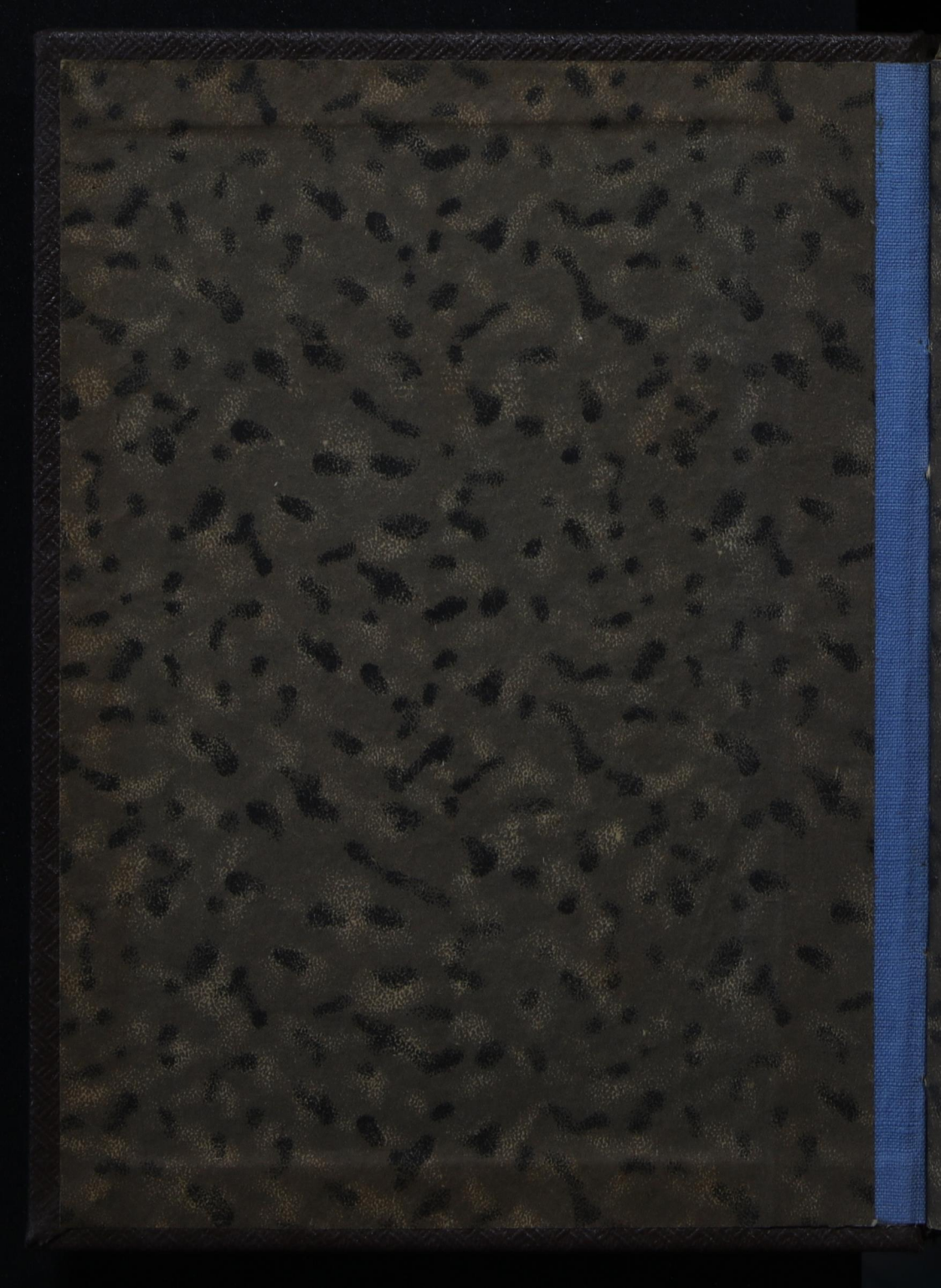
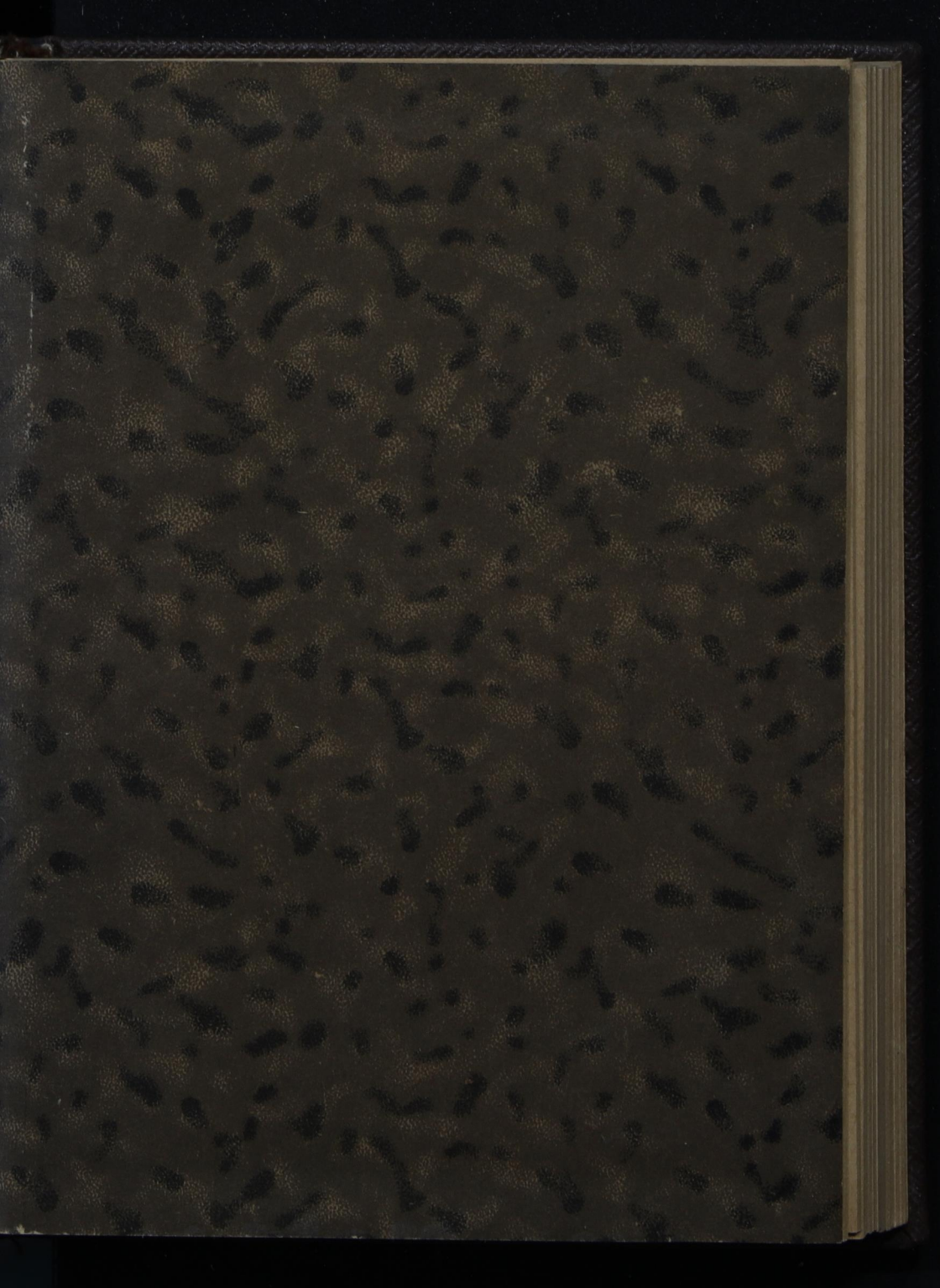
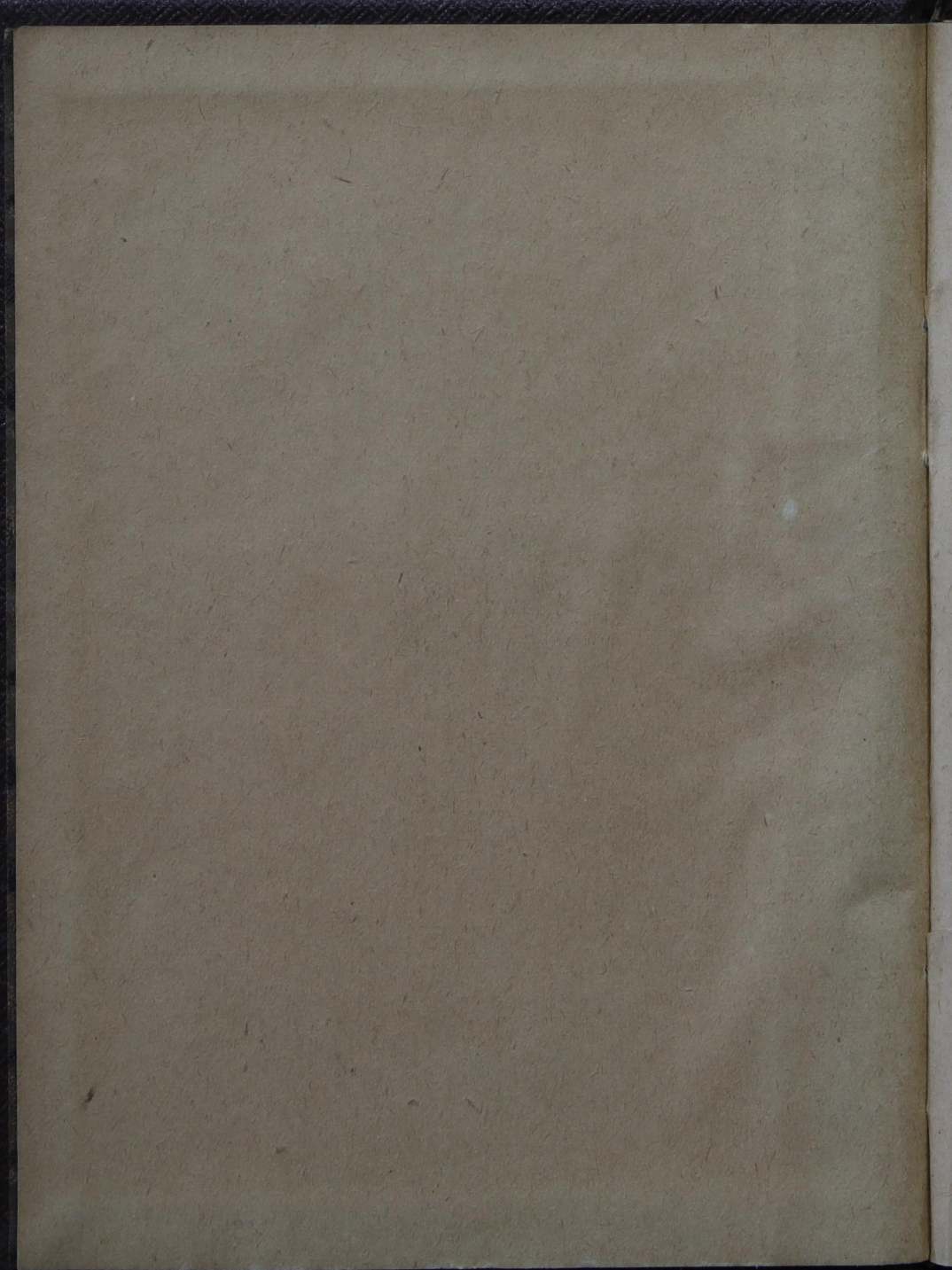




















---

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

---

МАДЛЕН МАРКС

MAGDELEINE MARX

Ж Е Н Щ И Н А

ПРЕДИСЛОВИЕ АНРИ БАРБЮСА,  
ПЕРЕВОД М. ЕЛАГИНОЙ,  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. А. АЗОВА



---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА. МСМХХІІІ

141, -10

---

Отпечатано 5.250 экз.  
в Тип. Коминтерна  
Гиз. № 3486 Главлит.  
№ 5.304, Петербург.

---



Ж Е Н Щ И Н А

Ф Е М М Е

1919





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Блестящая книга. В ней живет душа столь глубоко человеческая и столь чисто женственная, что все слова рекомендации падают на нее тяжелым грузом. Комментируя это замечательное признание на тех же страницах, где оно готово распусться, как будто насилуешь его коренную нежность и мощную жизненность.

Но да позволено будет мне, в качестве скромного друга литературы, выразить здесь суждение—которого автор у меня не просил—и прославить блестящую оригинальность этого труда; доставить себе радость указать на его значение.

Эта книга выражает—и в этом ее значительная литературная и моральная заслуга—то, что никогда еще не было точно высказано. Она выражает женщину.

Можно сказать, что женщину тем менее показывали, чем более о ней говорили. Ее прятали под множеством слов, и эта книга, как всякое глубокое литературное явление, обладает светом откровения. По ее тону, столь простому и столь проникновенному, чувствуешь, что женщина ощущает иначе то, что видим и гордо провозглашаем мы, мужчины.

Эта мысль, эта душа, разумеется, поразят и оскорбят старые мужские традиции, к которым примыкают и женщины, в силу своих старых рабских традиций. Но мы знаем, что всегда и везде порождаемая этой мыслью хула имеет тот же великий недостаток, что и всякая истина... Как? Вот женщина, которая с криком, искренность коего величественно очевидна, восстает против заблуждений материнского инстинкта, «голоса крови», против исключительности любви; женщина, которая знает и которая об'являет, что смерть убивает только

мертвых, а не тех, что остаются; которая отливает в другие формы закон и смысл смешения брачных пар, материнства и страдания. И это новое выражение женщины и, следовательно, жизни, эта захватывающая проповедь, молодая и сильная, убивающая искусственные, навязанные идеи, прозвучала тогда, когда женщина вступает, наконец, в человечество и готовится принять участие в общей жизни не только как производительница детей и служанка.

Произведение это строго, благочестиво объективно. В нем нет ничего, что не было бы пропущено через взгляд, разум и сердце „героини“, — обычай повелевает нам так именовать эту женщину, которая не имеет имени и представляет собою в сущности не что иное, как просто — женщину. По верховной воле писателя, богатство творения исходит только из блестящего одиночества индивида. Никакое внешнее приближение не пятнает этого единства. Быть может, еще ни в одной книге девственность индивидуума не была в таком почтении, и никогда измышленное лицо не защищалось столь стойко против всего, что не есть оно само. Даже не замечаешь, что эта „женщина“ говорит или рассказывает — просто знаешь то, что знает она.

И благодаря этому тесному сближению, ревниво соединяющему нас с этим существом из существ, эта книга становится захватывающей, волнующей, и чтение ее становится патетическим. Мир рождается в ней на наших глазах, и трепещущая трагедия делится на картины, краткие или пространные, но всегда нужные и необходимые. И все чередования обычных и величественных событий существования замыкаются в черты окончательные, в подлинную поэзию.

Говорить это — значит провозглашать мастерство писателя, скрытое искусство композиции, движение, которое сосредоточивает все драмы мира во внутреннюю драму лица, и чудесный дар широких впечатлений общего, который творит единство.

Эта книга не примыкает ни к какому роду литературы, не стесняется никакой формулой, не умаляет себя никаким подражанием. Она мощна, непокорна и девственна и ставит Мадлен Марк в ряд велико-  
лепных и высочайших поэтов нашей эпохи.

*Адри Барбюс*



## РОДИТЬСЯ

День занялся.

Я шла, шла...

Я только что оставила дорогу, истерзанную терновником, которая пересекает лес, роет в нем песчаное ложе и обнаруживает его ржавый живот.

Я чувствовала себя насыщенной воздухом: преисполненной нежными явствами, которые источают пространства, лоб мой был напряжен! Что это—распыление света? Я не знаю—я изнемогла. Мысль билась, работала под моими висками, я не следила за нею больше.

Нужно быть искренней по крайней мере один раз в жизни, чтобы знать, что такое провести час, целый час, шаг за шагом, минута за минутой, лицом к лицу с самой собой. Я никогда не была искренней. Я выходила из пределов, из глубины самой себя, до этих пор я только и делала, что дышала и спала: внезапно я стала жить, это было ослепительно.

Сквозь мое головокружение я испытывала утомительную потребность идти все дальше.

Я утлубилась в лес так случайно, без направления, почти без думы. Но едва замкнувшись в эту ветвистую декорацию, я скользнула на землю, на ту же сухую

траву, опавшие сучки и рыжие иголки, которые хрустели под моими каблуками.

Вокруг меня—частое кольцо—суровая растительная жизнь. Колеблющийся свет с зелеными отливами. Влажное благоухание. И везде невидимое движение...

Молчание было столь свежим, столь проникновенным, что оно казалось живым, и я несколько раз оборачивалась; мне казалось, что я слышу за собой присутствие человека. Никого; неровные стволы больших деревьев, там, позади их плотной зелени—растянутая завеса серого тумана; здесь расшитая тенями земля; в вышине царяпины голубого неба; и я.

Я...

Мне стыдно немного так привязываться к своей собственной особе, придавать ей значение: старая привычка унижения, забвения себя, неужели она возобновится? Теперь я была более одинока, чем в мерном возбуждении ходьбы, и из страха, из лени, я пыталась не оставаться неподвижной, опереться локтями в землю, лечь ничком, положить голову на руки, забыться, наконец, в моем жизненном шуме... Но я не могла.

Тогда я вытянулась на земле, уставив глаза в небо, покинув тело, захваченная полнокровным потоком моей мысли.

Она струилась сама собой. Она больше не оставалась, как тогда, во время ходьбы, на берегу каждого открытия; я больше не говорила себе, отбивая беспощадные и ритмические шаги: «Я лгала, я всегда лгала, я никогда не жила иначе, как сбоку моей жизни»... Воздух был кроток, только душа шумела, и душа была тоже



кроткой. Я устремилась в глубину; конечно это было для того, чтобы коснуться ее нежного начала.

Никакого начала. Мои первые воспоминания покорно вставали, не открывая мне ничего. Катехизис... Развернув ладони и округляя голос, аббат Додре говорил нам о злых, о тех, которых Предвечный ожидает «потом», чтобы наказать. Раздавленная этой речью, задыхающаяся под огромной тяжестью перкви, схоронившаяся в своей малости, я убеждалась глухими и равномерными толчками в том, что я среди осужденных, я, маленькая примерная девочка. Мы возвращались домой: я была спокойна, ровна, послушна, но если при мне произносили слово «виновный», если я встречала его написанным, черное и угрожающее, тогда словно грубый кулак опускался на мое плечо; я краснела, быстрое раскаяние вспыхивало внутри меня, это слово было создано для меня, это именно меня оно обозначало.

В некий день среди других дней я узнала, почему я была виновна; до этих пор я этого не знала.

Меня ввели в маленькую гостиную; ставни в ней были закрыты. Мать, утопая в сумерках, стоя просталась с дамой в глубоком трауре, вуаль которого обрамлял ее алебастровое лицо. Как она была красива. Трепещущий сумрак окружал ее, словно венчиком; я едва посмела приблизиться к ней, ибо я помнила о тех перешептываниях, что шедестели вокруг ее имени, и зависть, сверкавшую в зрачках женщин. Как она была красива... Она едва удерживала свои веки—так тяжелы были ее ресницы... Мне бы хотелось сказать ей одно слово, одно единственное, но я даже не смогла повторить того, что мать, нагнувшись, приказала мне сказать ей. Когда она

простилась, она обернулась на пороге комнаты, меряя меня своими широкими глазами, бархат ее голоса еще более потемнел: «Этот ребенок будет красив»...

Я почувствовала, как рвется из меня крик радости; дверь закрылась, я побежала к зеркалу: казалось, оно ожидало меня; все мое существо, пылая, поднялось на носки, чтобы сорвать первое эхо в отвесной блестящей воде зеркала... Уже вернулась мать и строгими губами: «Ты знаешь, это неправда»... Я еще была в нерешительности: «Ты некрасива». Мое дыхание поникло, замкнулось во мне: я получила объяснение всему, я поняла, я поняла...

Все мое существование в этом: времена года прибавлялись; я молчала, всегда скрывая то, что во мне было хорошего, скрывая то, что во мне было плохого, не находя ничего, кроме сожалений, между этими двумя вершинами, ибо этим они соединяются.

Так я не сохранила в себе никаких событий, никаких выпуклостей, никаких следов; я не сохранила ничего кроме угрызения, оно не покинуло меня.

Да нет же, оно только что меня покинуло. Это было на повороте дороги, где откос, скользя, сбегает в канаву, и когда я опустила голову: «Меня считают кроткой, простой, совершенно схожей с другими, говорят, что я умней других: именно это я особенно скрываю».

Тут я подняла глаза.

«И какое значение имеет прежде всего ложь, которую обманываешь других. Разве они требуют истины? Напротив, они отвергают ее, бичуют ее и гонят. Они не заслуживают того, чтобы искать ее ради них. Довольно»...



Солнце прямо передо мной крепче сжимало свои объятия и золотило кору дороги.

— И вовсе не на это следует жаловаться: дело в том, что есть *другая вещь*, существенная. Есть, я чувствую, тайная жизнь истинная, моя, и ей-то я изменила; неустрашимая, она движется по серым булыжникам дороги... Ах, как она рвется из берегов... Я не знаю куда она стремится, не знаю, что она такое, ибо я никогда не видела ее ни в одном моем движении, но нужно, чтобы она жила; если я должна умереть из-за этого — не беда, она будет жить. Она таилась в моем теле, она стыдливо пребывала там, потом, по вечерам, она возвращалась докучать мне своей грустью и усыплять меня своим пепельным вкусом; утром, как только я открывала глаза, это и был свет, что заливал меня и раскалял стены и почти сейчас же гаснул...

Вкруг меня синяя чаща леса, взлет шершавых деревьев, высоких и четких в их сходной жизни; лазурь подвижная и чистая. Где же их темная воля?

Я подошла, я растянулась среди них, я глядела на них. Перед подобными вещами не лгут. И вот я обретаю себя.

Я вижу себя такой, какая я есть.

...Мои тяжелые, огненные волосы, что рассыпают над моим лбом легкий свет... цвет моего лица, на котором лежит перламутр ясного дня, лиловатые отсветы, что расширяют в моих глазах узкую тень деревьев, умную красную линию моих губ, и под светлым платьем быструю гибкость, заключенную в моем теле...

Возможно ли? Мне больше не стыдно ни быть такой, ни знать о том, что я такая. Я, наконец, спускаю, как

неудобную маску, этот скромный вид, заставляющий говорить: «Что делает ее еще красивей, так это то, что она сама не знает об этом».

Так вы думаете, что на земле существует женщина, которая не знает самое себя?

Я знаю, я ужасающе знаю, что я красива, и это единственное, что я о себе знаю. Нет ничего, кроме зеркал; все мужчины, будь то старик, нищий или прохожий, или кто угодно, достаточно только появиться, что бы сразу же прочесть, едва только взглянув на него: «Я красива», и долго так, с упоением. И женщины, другие женщины. Если бы знали ужас их глаз, мольбу, зависть и немую оборону... притворяешься отвернувшейся, улыбающейся, да, но прямо следишь за мучением, которое причиняешь.

Правиться... Перед другим это нехорошее тщеславие, которое чванится и оглядывается. Но здесь, на костистой земле это просто часть меня самой. Это власть, которая была дана мне—я не отдам ее. Это только гармония, ответ на красоту, которую я чувствую там, это всего лишь желание победить, великое, совершенное желание: моя жизнь красивее, чем я.

Она здесь. Где же она? Это вовсе не мое крепкое румяное здоровье и не та твердая уравновешенность, что царит внутри меня: это как раз то, что меня от моей жизни удаляет: потребность мускулов, сильное напряжение икр, и эта моя мысль, что я могу раздавить мир в моих объятиях. Да, желание бегать, во все вмешиваться, кричать, танцевать; этот животный жар, этот пыл движения, эта кровь, знающая один лишь круг;—это тело, преисполненное свободой, соков, взрывов смеха,—этот



неожиданный дар, любопытство и довольство; этот аппетит и беспорядочность.

Я слышала других, как они говорили о молодости, я видела это слово блистающим, подобно ртути, на страницах книг; я еще не знаю, что это такое:—мне еще не исполнилось двадцати лет.

Я сжимаю в моих объятиях все то, что принадлежит мне, и это немного. Над моей головой первоначально не было ничего, кроме океана текучего молчания, я видела только лес без перспективы, но мое внимательное одиночество стало сверхъестественным: предстоя на торжестве деревьев, при их твердом стремлении к небесам, предстоя перед *самой собой*, я ощутила ясно, что живу впервые.

Я не хочу думать о будущем. Пусть будущее меня ожидает: будто начинается царствование.

И пусть никогда воспоминание не завладеет этим широко распахнутым утром, ибо оно может исказить его, пусть не скажет оно: «Это был день моего рождения, и я была взволнована».

Настоящее всегда очень просто. Я не испытываю никакого волнения, и солнце только радужная игра, что порхает и смеется, не садясь на потрескавшуюся кору сосен.

Это мгновение, это самое, не другое—создано из моего сильного тела, баюкающего шороха взметенных листьев, запаха смолистого леса, резкого крика большой птицы и неба, разделенного ее черным и белым полетом.

Никакой свет, никакая помощь извне не освещают меня. Я медленно дохожу, усилиями робкими и трудными, до теплых мгновений, когда я как бы прижимаюсь голо-

вой к своему сердцу; *узнаю* ли я, наконец, и разрешу ли? Но стоит мне опустить руку на грудь, все сейчас же пропадает и все надо начинать сначала.

Это потому, что есть пустое прошлое, которое звенит у вас в ушах, как полый шар, отсутствие навыка, от которого немеет рука, род стыда. Нельзя достигнуть сразу своей подлинной правды.

И потом, нужно же себе все высказать,—правду не ищут сердцем, которое *продолжает*: чаще стремятся избавиться от нее. Вокруг меня на земле совсем маленькие кружочки света, и я не испытываю ничего, кроме желания схватить их. Сколько я ни протягиваю руку, ни склоняюсь, ни подставляю щеку, они, трепеща, убегают, и на их месте пронизывающий жар бродит и пляшет на моем лице.

Потом, независимо от моего усилия и независимо от того, достойна ли я, святое восхищение возвращается, вновь поднимает меня и коленопреклоняет; я слышу, как встает ветер внезапного призвания...

... Моя ли это жизнь, Господи? Куда идем мы—ответствуй—когда она ширится в широкой груди и когда мы приближаемся так—еще, еще—к чему-то бесконечному, чье имя ищешь?

\*  
\*

... Так, значит, этот шум не прекратится? Тем не менее есть стены, чтобы остановить его.

Пусть они двигаются, пусть кричат, пусть танцуют, пусть веселятся. Но я ушла, я не хочу их видеть, и одна в своей комнате я не хочу их слышать.



Напрасный труд. Яростно зарываю я голову до половины в черную глубину подушек, и вновь зарываю: кружение музыки продолжает свой неумолчный бег, заплетает вокруг меня круглые арабески, и когда я затыкаю уши, она все же кружится, кружится.

Мазурка.

Кто же потребовал мазурку? Ах да, я припоминаю... Когда я оставила племя сидящих и насторожившихся молодых девушек—движущуюся корзину искусственных цветов—одна из девушек сказала: «После мазурки я уведу его в сад и устрою так, чтобы он меня поцеловал».

Которая? Ее легко себе представить и следить за нею, не видя ее, они все одинаковы. Она смеется, я в этом уверена, и расправляет два цветущих бутона своей груди; ее унизанная жемчугом туника сверкает и бьет ее хорошенькие ножки потоком света, ее скромные волосы блестят, и когда мазурка поворачивает ее к вам лицом—это одно из тех благоразумных и пухлых лиц, по которым чувство скользит, никогда в них не запечатлеваясь.

Но я забыла, мама должна была тоже вступить в танец, ибо это единственный, который она знает и который развертывает для нее нежные воспоминания. Она решилась и, вот, кружится, нежная во всех своих движениях, опираясь на отца, который принаравливается к ее шагам, делая вид, будто ведет ее: «Ну, ты не попадаешь», и они трогаются вновь—раз, два, три, четыре—оба грузные своей репутацией доброй сплоченной четы, отягощенные взглядами, что следят за ними.

Если бы знали...



Жених с невестой скрылись, проглоченные первым темным углом, туда, где страсть багрова, где ничего не существует, кроме рук, губ и угадываемых тел. Когда музыка кончится, и они появятся вновь, послышится резкий и терпкий смех молодой невесты, она широко откроет глаза: вот так, все будут видеть ее детский рот, ее тонкий силуэт, который неловко сдерживает движение страха, послышится и щебетание: «Как она чиста!» будут говорить и будут благодарны ей за наглядное демонстрирование бархатистой чистоты молодых девушек.

Последние такты. Они все в испарине, запыхавшиеся, скромно торжествующие, и каждый, подходя к своему стулу, сжимает в последний раз легкую ручку, которую сейчас отпустит.

Мой отец всецело в распоряжении своих гостей: он отвел закружившуюся маму на место и потом удалился. С трепещущими веками она кажется возвратившейся из волшебного странствия: «я счастлива, счастлива», думает она, «у меня такой хороший муж». Ежедневная рана затянулась — нужно же прощать это, и если облако омрачает ее, так это потому, что она думает обо мне: «Но таков брак, моя девочка, ты увидишь, это не что иное, как великое отречение: ты переменишься, право, и ты тоже, и ты поступишь, как другие; взгляни на меня: разве я несчастна?»

Нет, ты не несчастна, моя бедная мамочка, с твоим раненым голосом, глазами, подающими милостыню, и бесцветными жестами: ты мертва; двадцать лет, как у тебя нет воли, нет ни одного взгляда, который бы выражал желание, ни нетерпения, ни вольного горизонта, ни одного часа, ничего твоего; двадцать лет, как ты отказа-



лась от себя самой. Но твой муж никогда не уезжает, у него жена и дети, он зарабатывает на жизнь, жизнь широкую, все его уважают, и «нельзя же иметь все сразу».

Ты можешь жить счастливо с двадцатилетним горем на плечах; ты дышишь, ты ходишь, вокруг тебя женщины суждена та же судьба, и это поддерживает тебя. Но мы, мама, мы не такие, девушки моих лет, мы, имеющие мясистые сердца, рассудительный ум, новую энергию, но я, которая ничего не совершила, я не могу, я говорю тебе это,—и если будущее мне дано, я хочу все взять у него.

Музыка кончилась, ее больше не слышно... Кажется, сердце начинает.

Темнота комнаты мало по малу ощутительно восстанавливается. Ее тишина, ее одиночество. Можно различить стены или, скорее, туманный призрак стен, окно, где бледнеет холодный свет сада, неопределенный прямоугольник, что вытянулся на потолке... и в молчании, где Бог берет свое начало, изгнанная душа возвращается на свое место.

Ах! Все ломается еще раз, и музыка грохочет...

Некоторые слова чересчур хороши, их говорят, чтобы опьянить себя, но когда они миновали, ясно видно, что руки пусты.

Я спросила себя: «Что же такое молодость?» Молодость—вот это; молодость—вот та ужасная вещь; вот этот грех, это вот мучение, о котором нужно молчать; это мое чистое опьянение, запачканное их нечистым опьянением; я хотела воспевать ее, дарить ее, выдыхать ее. Глумящаяся жизнь внизу со своими людьми, своими



привычками, которые пачкают, и своими смешками. Они были правы,—те другие. От нее не ускользнешь. Нужно приноровиться, таков закон. Я приноровлюсь. У меня будет муж, он будет предусмотрителен и верен; никого не будет, кроме него: он будет всем для меня. Он поплывет вдоль берегов моего существа, он даст свой отзыв о всех моих поступках, о моих шагах, о моих взглядах, и этот отзыв будет решающим. Я буду каждую ночь спать в его кровати, и он увидит мое тело, такое робкое, мой обнаженный сон, мою сонную жизнь; он будет стоять во весь рост в моей жизни, как в саду, который не боишься опустошить, и когда правда пройдет мимо нас, он опустит руки на колени.

У меня не будет более запутанных желаний, неожиданной доброты, смертельного ожидания, и этих вопросов, что образуют вокруг меня душную пустыню: я буду удовлетворена. Если ад мой иной раз вернется навестить меня, этот ад с красными глазами, с чрезмерно узкой грудью, мой муж будет здесь сидеть, напротив меня, за столом, он поднимет голову: «Что такое, ты не хочешь кушать?»

Душа, насущное, глубокий внутренний голос, это слова, слова... Нет ничего, кроме шума, там внизу. И нужно туда вернуться. Ну, входите, разговаривайте, улыбайтесь же. Все существования похожи. Когда не останется более ни одной лжи для исполнения, это будет значить, что пора умирать.

Для чего упрямо желать найти выход и разбивать себе голову? Выхода нет. Не стоит ласкать невозможное, нужно встать, весело спуститься. Немного холодной воды, пудры: эта печаль—печаль недозволенная.



Еще один раз, и навсегда я пойду к ним. Если они шумливы, без костей, без взора, без пылкости, они, может быть, чувствовали однажды, в глубине себя, эту рассыпавшуюся у них в руках и разделенную во всякое мгновение ревнивую лихорадку, что тяготит, как сердце; быть может, они страдали; быть может, закинув голову, когда вставало солнце, они понимали, что их двадцать лет священны. Двадцать лет! И говорили себе: мудрость в нас, будущее в нас, и правота, соль, кровь, истина — это только мы. И хотели бы показать свое сердце, моля прохожих: «Придите; спрашивайте; ведь у нас можно узнать все, мы сумеем поведать тайну, смысл вещей, слова, что скрываются в сгибах тела, захватывающее откровение, что веет на дорогах, все, что преходяще, ибо это есть единственное, что пребывает нетленным; мы знаем все и больше, чем все, мы, никогда не любившие, знаем всю любовь». Быть может, *они* простирали свои руки, впивали свежее утро своими устами, ощущали сердце, бьющееся от рыданий; быть может, они были своей надеждой. Я делаю то же, что делали они, теперь мой черед; мой черед черствости придет, конечно, тоже.

Фарандола! А! Они все держатся за руки, старики тоже в ней: «Давайте веселиться!» и сквозь грохот их тел, шаги, их лавину, я слышу резкие крики де-вушек.

Они выходят из гостиной, они как будто приближаются...

Не приближайтесь! Если в этой комнате так темно, если я плакала, и если стены приняли этот вид отчаяния, это еще не значит, что меня можно победить.

Галоп кипит, стремится. Цепь собирается в центре; те, кто на конце ее, почти четвертованы, последний поднял руку, и шум поднимается к моему горлу.

Мой пол задрожал сильнее. Я спущусь, я пойду к ним.

Но еще не сейчас...

\* \* \*

Свершилось.

Как поверить этому, как сказать себе, что это правда, что это сделано, что все кончено. И почему я до такой степени поглощена нелепым воспоминанием, вместо того, чтобы быть поглощенной тем, что только что свершилось.

Воспоминание не даст пощады: это произошло однажды, я была маленькой, у меня была коса с красной ленточкой за спиной. Чтобы сделать сюрприз маме, мне пришла вдруг мысль убрать тайком цветами ее вазу, прекрасную вазу с золотым горлом и синими боками, такую стройную на своем прочном цоколе, что она казалась стоящей на троне. Я была очень осторожна, я удерживала дыхание, я измеряла мои движения... ваза пошатнулась с оглушительным и гулким звуком, звуком, который еще длится; неожиданно вошел отец. Он остановился—он был всегда строг—схватив меня за плечо, сотрясая меня, как чахлый кустик, мотаемый ветром, он потащил меня в мою комнату и на пороге ударил меня так сильно, что одно мгновение я качалась со свистом в ушах, пьяная, ошеломленная, растерянная... Потом он запер дверь.

Когда я опомнилась, я не знаю почему, я побежала к зеркалу, неизвестно зачем, «чтобы видеть». Пятно



цвета виновой гущи с красными полосами широко круглилось у меня на щеке; я осторожно приблизила к нему тыльную сторону руки: на расстоянии оно пылало.

Оно пылало, но странно, оно не причиняло боли: я сознала это, и неожиданная печаль охватила меня, такая полная, такая внезапная, что она была словно горькая волна. Я не сознавала ее причины, даже сейчас я плохо сознаю ее; дети наивнее и нежнее нас; но я, должно быть, была обманута. Не иметь определенной причины плакать над самой собой, не страдать в действительности от незаслуженного наказания, не ласкать этого утешения, это неприступное убежище, бездонный источник, которым всегда является боль; прикоснувшись к моей щеке, которая не причиняла боли, я бросилась, плача, на мою постель, одинокая, да, действительно, одинокая впервые.

Так и в этот вечер.

Я только что покинула семью, вот я бросилась на землю; ночь сеет мелкую изморозь, застилающую глаза, я не знаю еще, где я усну, и—на этот раз это еще страннее—это не причиняет боли. Разве я бесчувственна? Я иду все прямо вперед, дома сменяют друг друга, улицы сочленяются концами, разрозненные тени не что иное, как одна тень. Если я местами останавливаюсь, то потому, что мне кажется, что я забываю страдать.

Я иду уже добрый час.

Как углубляется вечер! Час пустоты, свежего небытия, час пустой и голый. Ах, если бы так было до конца. Пусть будет нужда, неизвестность, унижение, но пусть правда будет тоже. Умираешь от усилия обойтись без нее.

Эта сцена... можно ли убить воспоминание, можно ли вырвать его, снять, чтоб не оставалось ничего, даже смешного воспоминания о воспоминании?

... Он пылал гневом; он махал то одной, то другой рукой, подчиняясь их механической воле, с лицом, искаженным яростью и внезапно помолодевшим. Теперь я замечаю это—у него было такое же лицо, как в день золоченой вазы, только теперь он не осмеливался меня бить и вот поэтому он так сильно жестикулировал. Привычная к этим бурям, я слушала его сперва с равнодушным видом—ну-ну, это сейчас кончится,—и предомной вставал по ежедневному порядку знакомый образ, приводящий ясность успокоения: дымящаяся миска, которую вошедшая плавным шагом Леонтина ставит на стол, отнимая палец за пальцем от ее красных ручек и скользя по мне косым взглядом; прозрачную игру рюмок вокруг миски, вторящих своими радужными стебельками белому мерцанию серебра, белой слепительности скатерти.

Хотя мои глаза со вниманием следили за мелочами накрывания стола, тем не менее во мне совершалась глухая работа: легион уснувших желаний, хромых порывов, умерших стремлений, бесшумно пробуждался, я едва чувствовала их течение. Мысли, которые приходят по утру, когда поднимаешь глаза: «сегодня! сегодня!», надежды, преданные земле, разочарования, вздохи, их мелодия поднималась на поверхность, преображалась в гром, влекла меня вперед, но я оставалась на месте, как животное, которое тянут на веревке и которое опускает голову.

Я во-время заметила его движение.



Он приближался ко мне, подняв кулак, но имел ли он намерение меня ударить? Что за дело! Я была уже не в состоянии рассуждать: громовой раскат разбил на тысячу кусков мою внутреннюю боль, молния ударила, освобождая все, вплоть до моего голоса. Я говорила, наконец-то говорила.

Что я сказала? В конце концов, почти ничего, ибо он в бешеной быстроте своего гнева уже прервал меня: «Вон! Вон!» показывая мне свою руку, словно он и ее тоже проклинал навеки.

Дверь издала очень долгий и очень выразительный звук, закрываясь за мною.

Я была на площадке. Никакого шума; электрический свет жестоко усиливал красноту разостланного спирально ковра и метил каждый медный прут мельчайшей кометой.

Одна.

И вдруг... что значило это все? Я не понимала более. Этот взрыв криков, эта буря, это подобие комедии, мой ответ... что это? Я пошла присесть, одинаково желая смеяться и плакать, я хотела обдумать... но дело было уже сделано, почти посторонняя сила двигала меня на моих петлях: «Спасена!» и я была словно узник, видящий свою дверь по недосмотру открытой.

Я тихонько постучала, присутствие духа приливало ко мне полностью, и Леонтина пришла отворить мне с притворно опечаленным видом, с видом, говорящим: «Т-сс», и под ним сосредоточенная радость насторожившегося животного. «Они за столом», — зашла она шепнуть мне, в то время, как я была в моей комнате, собирая

вещи: платье, кофточку, туалетные принадлежности, немного денег, белье, несколько книг.

Я затворила за собой дверь медленно, не слабей, медленно: готово. Это было не трудно.

Внизу почерневшая улица распространяла скудный ветер, от которого мне стало холодно сперва. А, ты уже дрожишь? Ты уже отступаешь! Где же она, эта прекрасная отвага, это всемогущее желание, эта надежда, тверже тебя самой?

По правде, я дрожала не от трусости; но по мере того, как я приближалась к себе самой, улица за улицей, дом за домом, сквозь мое первое испытание, мое внутреннее сознание становилось более твердым, более глубоким, и внезапный страх проник мне в грудь.

Я не подлинно сильное существо. То, что ранее боролось во мне с таким бешенством—это не была моя сила, это была только реакция, вызванная другими. Сильное существо знало бы с первого шага, какой жребий извлечет оно из одухотворяющей его мощи, оно построило бы даже ранее, чем разрушать. Когда открывают клетку, и когда птица взлетает—она не колеблется. У нее есть знание пространства, она простирает оба крыла, она знает область, куда погрузится ее полет, и высоту, которой она может достигнуть.

Я ничего не знаю. Я попросту иду. Ни позади, ни предо мною нет этого необходимого толчка, которым начинается великий жребий. И нет пред моим взором стремительного и совсем близкого образа моей жизни. Нет кругом медноцветного веселья сказочной свободы. Ничего, только немного усталости, немного пустоты в голове, немного пустоты в сердце. Я не сильное существо.



Прощай, мама. Прощальный привет твоим прозрачным глазам, твоим плечам, которые будут всегда неправы, прощальный привет твоей нежной лжи.

Ты видишь, что я также и не слабое сердце, потому что я сумею уйти навсегда от тебя и без горячности искушать не ясное будущее. Не потому, что явилось знамение. Предо мной нет ничего, кроме спокойной улицы, сдавленной домами цвета чернил. Вечер, испаряющийся у стекол фонарей, заставляет их колебаться внизу, и наверху подмигивает. У свободы вкус тумана.

... Семейный пансион. Пройти ли мне мимо этого враждебного порога, прикрытого облезшим ковром? Мне бы так хотелось уснуть и передохнуть. Неужели я избежну этот дом, откуда испаряется запах погреба, эту терпкую мглу и эти почерневшие стены? Неужели?..

Э, судьба везде... Сюда-то и нужно войти.

\* \* \*

Я нашла работу.

... Пятнадцать дней, сто надежд, пятнадцать дней... Враждебный сквозняк передних, натянутые лица: «Место занято», лестницы, по которым поднимаешься одним духом и степенно опускаешься, допрос, начинающийся смущающими вопросами, нередко заканчивающийся вопросами, заставляющими краснеть... Потом, в один прекрасный день,—каким чудом?—место не занято, и вы отвечаете «да» на все, что вас спрашивают, и вот, совершенно ясно, с завтрашнего дня вы поступаете.

Я не исчерпала счастья, которое находят в том, чтобы прожить безмянный день. Зарабатывать свой хлеб чувствовать себя достойной и правой, не разговаривать

правда, но, по крайней мере, и не лгать, быть покойной, позволять скопляться волнам своего существа и возвращаться каждый вечер под скромный кров, где всегда готово распусться молчание.

Тем не менее, семейный пансион не гостеприимен, там никогда не ешь вдоволь, и моя узкая комната, со своим протертым ковром и заплесневшим потолком, похожа на неопрятную клетку, но сегодня воскресение, и я решила сделать ее более привлекательной.

Носовой платок, покрывающий волосы, белая блузка, голые руки.

Упорствуя и натирая, выгоняя пыль, двадцать раз выбирая место для книг, вольтижируя стульями, выскребая засевшую чешуей грязь, я должна одержать верх. Чтобы судить об эффекте, я сажусь от времени до времени на разорванную ручку кресла с красными цветами: в общем уже лучше. Раз, два, три, начинаю снова.

Ни одного портрета, никаких украшений; я сняла сентиментальные гравюры, которые хитро скрывали шрамы обоев; ничего, кроме голой комнаты и высокого окна с кривым стеклом.

Кровать подозрительного красного дерева прячется в скромном закоулке алькова, шкаф хромал бы, если бы толстая веревка не поддерживала его спереди за розетку, и то, что делает эту комнату все же забавной, это обилие цветов, которыми ее пытались украсить. Они всюду. Расположенные полукругами на стенах, обтрепанные у плинтуса, развернувшиеся пожелтевшим шествием по течению фриза, протертые до самой основы ткани на спинках кресел, сглаженные до неузнаваемости на линолеуме, ошипанные, бескровные на



креповых занавесях... Среди этого кладбища, нежные фиалки, что цветут на моем столе, обладают великолепием плоти, почти дерзким, и их лепестки кажутся красными.

Несмотря на свою наготу, моя комната испускает лучи, скудное солнце, проникшее в окно, уже преобразило ее, и я чувствую себя непринужденно.

Все больше и больше я спрашиваю себя, каков смысл моего существования, какова моя единая, моя истинная судьба. Без сомнения, нужно долго спать в одной комнате, прежде чем увидишь душу, которая в ней создается.

Я подобна человеку—я хорошо это знаю,—который хочет построить большой дом; но у него нет ни места, ни материалов; и тем не менее он говорит: «Нет, не это место, не этот материал». Нет ничего, я чувствую, но когда подчинен здоровой дисциплине бедности, в награду получаешь энергичные мускулы и терпеливые взгляды.

Я жду и, не имея больше надобности ни стонать, ни кусать, я жду, улыбаясь. Все проще, чем думают, и все легче, и мне кажется, что...

Стучат.

«Можно войти?»

Хозяйка пансиона: мадам Ноэль.

Мадам Ноэль не женщина, это скорее карлица, у нее рост, голос и прыгающая резвость худощавой для своих лет двенадцатилетней девочки.

Когда я поселилась, я с первого утра услышала ее шаги насекомого вокруг меня—я оставила свою дверь открытой—и, не дав мне времени отступить, она окружила меня, с лицом и губами, усыпанными вопросами.

— Сколько лет вы мне даете, ну-ка?

— Не знаю, сударыня.

— Скажите все же.

— Тридцать четыре... тридцать три... тридцать.— Если разглядеть ее хорошенько в течение нескольких секунд, то казалось добрых сорок.

— Пятьдесят два, красавица моя.

На вершине ее маленького личика с кулачок рыскали хитрые и лишенные ресниц глазки; она натянула кожу своих щек, похожих на печеное яблоко, и, чтобы лучше убедить меня, приподняла пальцем приложенную к голове завитую накладку, сделанную из порыжелых волос; под ней я увидала, в самом деле, целый цветник седых волос.

Легкая, она присела на один из моих искалеченных стульев, придав ему равновесие, и принялась рассказывать историю своей жизни, роясь, распаковывая, перетрахиывая ее целыми охапками: ее муж, ее любовник, потом другой, художник, которого она обожала; первый вернулся... Любовь, приключения,—ведь это можно рассказывать?

Прежде, чем меня оставить—я была совсем ошеломлена, это, наверно, было заметно—понижив голос: «Он такой хороший... Я не без ума от него, но он так меня любит...»

«Он?»

«Семейный пансион, ведь, не ради доходов, которые он приносит, но вы понимаете, это для *света*».

Свет?

С гибким жеманством кошки, с острыми локтями, прорезывающими ее силуэт, мадам Ноэль подкатилась



к кровати. Тюфяк поднят в воздух, простыни скомканы, и подушка поставлена торчком, едва не падает. Но ей требуется так мало места, и она заботливо ухлопывает норку, которую она себе приготовила.

— Так, значит, нет ни в чем недостатка? Ах, эта молодость! носовой платок на голове, и все же остается хорошенькой.

Я инстинктивно снимаю платок с головы и бормочу: «Из-за пыли», и—что сделать, чтоб она ушла?—я неловко улыбаюсь.

— А! В самом деле, малютка, я забыла вам сказать: если вы хотите принимать в вашей комнате... что ж, в конце концов, у вас же есть кто-нибудь... мы обе женщины... красивая девушка, как вы, было бы жаль... неправда ли, вы не стесняйтесь меня, для меня любовь священна. Ведь вы расскажете свои маленькие тайны мадам Ноэль? Я-то рассказала вам свои. Только вы устраивайтесь, как полагается, чтобы не вызвать шума. Я вам говорю это из-за русских рядом. Эти принимали кучу народу, я не знаю до какого часа, и разговоры, и сплетни. А! ну нет! Я положила этому конец. Вы—другое дело. Во-первых, вы мне очень нравитесь...»

Нужно ответить... Я отвечу... Но мой запутавшийся язык совсем пересох, и, кроме того, как удосужиться вставить хоть одно словечко. Вот она снова вернулась на вершину чудовищной кучи своих любовных историй, она возвращается к тому же самому, опускает и поднимает свою пудреную мордочку, откладывает лоскут в сторону—это после—и скрывается, наконец, на паре своих скачущих ножек с резким „до свидания“, которое кудрявит кожуру ее щек.

Фальшивый запах белой сирени упорствует, но вливается столько солнца, столько бодрых испарений, что он улетучивается тоже.

Любовь... да...

Если слушать внутренний голос, быть может, достигнешь того, чтобы говорить о ней громко. Если я подвергнусь этой привычке, я хочу услышать свои слова: «Я не люблю любви». Я даже хочу прибавить: «Удалите ее от меня», ибо это—мне так кажется—чуждая сила, которая нападает на вас или милует вас без того, чтобы ее заслужили, и без того, чтобы ее изгнали.

Я слишком часто видела эти пары, где в мужчине есть только желание победы, а в женщине ничего, кроме потребности поражения; я видел слишком много таких, которые не были посещаемы благодатью и оба проклинали друг друга во взаимной гибели. Подлинное нападение и подобие защиты. Я видела, что принимают за любовь.

Я видела женщин, завернувшихся в хитрость; чем они хитрее, тем более окружает их любовь; я видела тяжкие взгляды мужчин, расставленные всюду, как ловушки... Я еще ничего не стою, но мое здоровое сердце я защищаю. И я говорю шепотом, чтобы заколдовать невидимую опасность: «Я не люблю любви».

«Для меня любовь—священна...»

Я хорошо понимаю, что прославляли они, плешивые, рыщущие глазки. И в их существовании, полном приключений, я вижу не больше и не меньше порока и лжи, чем в глазах девушек. Не больше, не меньше. Моментами проходили даже маленькие молнии, отсветы, блески.



Облако затемнило окно: моя комната померкла.

Но если бы, склоняясь, смело подставляя таким, каким оно есть, моё лицо солнцу, подвигаясь еще, я могла приобрести всю золотую доброту его и весь свет его?

... Я быстро отошла от весеннего окна, ибо в миг, когда ласковое пламя бежало по моей руке, я заметила, что я была недостойна: волосы в беспорядке, пыль на мне, хаос в комнате.

Так как солнце живет, так как я его хочу, — любовь должна существовать, и я нашла бы этому доказательства: скорей мое воскресное платье, привести все в порядок, цветы.

Удалите ее пока: я не чувствую себя готовой.

\* \* \*

Это день рождения Труды. Двадцать четыре года. Двадцать четыре свечи поставлены вокруг чудовищного пирога, и Труды объявила, что Эдда, как самая младшая из нас, засветит их, когда придет время тостов и десерта.

Я принесла мои вазы, мое старое с красными цветами кресло, мои драпировки, и приготовления этого утра были закончены, когда, на тройной взрыв их голосов: «Идите посмотреть», я тремя скачками, как эхо, пересекла площадку.

Комната, в самом деле, имела хороший вид. Можно ли узнать безымянную комнату Клары? Гирлянды зелени опоясывали стены, свисая тяжелыми фестонами, утыканными розами, моя прекрасная материя всецело скрывала

в голубом туалетный стол, цветы испещрили камин, звездились в углу зеркала, и стол, — накрытый белой скатертью, — был исполосован пирамидками фруктов.

Теперь приглашенные в сборе. Опоздал один Маркович, но он предупредил. — Я не занимаюсь вами, — кричит им сквозь растущий шум Клара. — Ваше дело выбирать себе места. — И, повернувшись к ним спиной, с тяжелым шиньоном кос, свалившимся на затылок, еще более гонкая в своем зеленоватом платье, несмотря на развернутые крылышки, опоясывающие ее талию, она оправляет в последний раз приборы. Какой-то шелест раздается сзади нее, розовая рука на мгновение обвивает ее талию: «Клара, можно вам помочь?» Она оборачивается: Далия.

Далия, это не обычное существо, это никто, это *молодая девушка*. Разумеется, это ничего не говорит. Джулетта и Миранда умерли. Наши времена не созданы для существа, подобного заре, которое было бы лучше, чем обещание себя самого, но которое уже оно само, которое было бы несведущим, которое было бы чистым и, чтобы любить, не ожидало бы любви.

Далия явилась из других времен, из страны фьордов и легенд. Ее отец был изгнан оттуда, она хотела следовать за ним, у них не было денег: они проделали почти все путешествие пешком; однажды вечером, когда их отяжелевшие ноги отказались двигаться, они пристали в грязном предместьи Парижа; они сняли комнату. На утро мужчина не встал. И с тех пор Далия целый день горбится, выручая ничтожный месячный заработок в конторе, стены которой сдавили ее и стали для нее тисками. «Но это для того, чтобы *воспитывать* моего



отца», сказала она, встряхнув головой, когда я увидела ее во второй раз.

Я никогда не забуду того, что было в первый раз. Я вернулась несколько позднее обыкновенного, более утомленная; разумеется, я даже не подумала зажечь лампу, тень была не реальна... Боже мой! Привидение несмело ступило между порогом и сумраком... то был лоб, оправленный в бледное золото, нежное пятно лица, глаза с тысячью незабудок, между двух юных рук строгая и сдержанная скромность ангелов, движения светлые тоже... Оно приблизилось: «Мы приготовили пирог по нашему, позвольте поделиться». Потом оно исчезло. Приношение осталось на моем столе.

В своем светлом полотняном платье с выпышками паради вокруг нее, Далия, словно освещенная розовым бенгальским огнем, улыбалась всем, как улыбаются неожиданному счастью.

— Ваше красное платье прелестно, — уверяет она Труду, тихо складывая нежные в ретена своих рук.

Как она, Труды, может оставаться простой и монашеской в этом уборе из красного плюша, обвешанная жемчугом и облеченная в броню из золотой вермишели, резко обрывающейся на бедрах! Мне кажется, я чувствую, что она слишком проста, чтобы какой-либо наряд слился с ней; подлинные или фальшивые уборы устраиваются от нее—это она украшает их, и все, что она носит, освящается и уподобляется ей, все, кроме ее тройного имени: Гертруды, Труды, Трудель.

Она обладает этим темным сиянием русских, этим подземным и почти необъяснимым сиянием. Смеется ли она, воодушевляется ли, или с жаром говорит о повсе-

дневных вещах, у нее всегда поднят палец, ее взор устремляется в высь: «Христос», и ее рот становится евангельским. Ее глаза, подобные мрамору, имеют отблеск каменного угля. Откинутая назад, глянцевитая листва черных кудрей обнажает целиком ее мощный лоб, лоб, создающий ей дладему... Какая другая женщина могла бы осмелиться на высшее бесстыдство — показать свой обнаженный лоб, какая бы выиграла от этого? Но самое странное, что Труда красива, только благодаря какому-то чуду: еще немного больше — под ее щеками проступили бы татарские скулы, немного менее — и нос ее был бы приплюснут и озера ее глаз тихо прикрывают яростные волны, что покоятся на дне. Сколькие, благодаря неувловимому несчастию, лишены красоты, и Труда чудом избежала уродства.

Маня, ее сестра, столь на нее непохожая, со скользящим и проворным телом, ласкает подарки. «Вы еще не все видели, Труда, подите еще». Книги, гравюры, фарфор, вещи вышитые и тонкие. Все эти красивые предметы принесены бедными людьми, которые сейчас ночью уйдут пешком, чтобы сэкономить три су. Ибо мы все беднее бедных. Кроме Марковича, впрочем. Маня рассказывала, что он «чудовищно богат» и может тратить в месяц, по крайней мере, тысячу франков.

Бедность ли создает среди нас это братство — неизвестно: сюда входят и чувствуют себя привольно, здесь *хорошо*, здесь все любят друг друга, даже Лонни, маленькую швейцарку со щеками, налакированными румянами, даже Мишеля, наострившего плоский хрящ своего носа над куриным профилем, и, быть может, Мишеля еще больше, чем других...



Тем хуже для Марковича. Мы начинаем. Шум немного стихает; все устраиваются, те двое на одном стуле, некоторые на кровати, многие усевшись на полу, молодые люди и девушки, держась за руки, такие близкие, такие чистые, что я еще не могу привыкнуть.

— Ваш черед, Маня.

Песня, переливчатая и вдруг бурная, выходит из камышей и уводит вас далеко, туда, в эти дикие равнины, сглаженные ветром, где потоки воды, извергнутые на поверхность и дараемые своим каменистым ложем, гневны, как ураган. Какая мощь внимания на этих суровых лицах.

Не Маркович ли?

— Войдите!

С чертами, затвердевшими и высеченными в граните— этот тоже сила. Его глаза, как стебли, шарящие среди присутствующих, нашли свой предмет... Далия поднимает голову, краснеет и до самого золотистого края волос заливается легким пурпуром.

Она знает о любви этого большого разорившегося малого, мы о ней все знаем, но она отказалась быть его женой, так как не любит его; он больше не заговорит об этом. Честные во что бы то ни стало, они встречаются лицом к лицу. Чистым и круглым движением своей руки, подобной амфоре, она показывает ему свободное место около себя: «сюда» и боязливым знаком: «тише».

Теперь Приков рассказывает воспоминания детства. Кажется, будто развертывается фантастическая сказка, в которой он—фантастический гном и которую он же родил: хжины, осаждаемые ледяным ветром, смутные сны посиневших тел, *потусторонняя* нежность... Не-

смотря на его выдающуюся челюсть и беспорядочную копну волос, какой добродушный вид, какое нежное милосердие. Кажется, будто он говорит с маленькими детьми.

Время бежит. Никто не беспокоится об этом, мы о нем забыли; оно льется из собранной и связанной в снопы молодости, из груди Клары, откуда поднимается жалобная песня, и сейчас оно тянется голодными своими руками к Далии, распределяющей манну: настоящий ужин бедных, ужин людей, голодных во всякое время,—кровавые ломти на хлебе, плотные булки, грубые, румяные плоды; и нужно видеть этих здоровых молодых девушек, жующих мясо.

Как я люблю их всех. Среди них я почувствовала впервые, что такое человеческий голос и распространяющееся тепло, то самое, что переходит с одного локтя на другой, которое из одного существа делает собрание существ, из нивы колосьев делает человеческую жатву.

Но я не смогла бы предпочесть ни одного из них. В отдельности любой из этих молодых людей пугал бы меня немного, я растерялась бы, и его говор казался бы мне диким. Мое платье хорошего покроя, моя слишком тонкая обувь, мои пенящиеся блузки, все, что составляет мою стихию, было бы упреком мне, и час, который я трачу утром, боязливо прижавшись к моему зеркалу, как будто я заклинаю себя самое быть красивой.

Я бы испытывала то же чувство и перед девушками, ибо в сущности мужчина это или женщина, я не делаю никакой разницы между ними. Я бы даже пошла далее; если бы дружба сблизила меня с одной из них, мое рас-



кайние сменилось бы досадой: в самом деле, можно ли простить Кларе ее цветистое платье, которое, конечно, было задумано в бреду, можно ли простить им все эти стоптанные башмаки, это отсутствие осмотрительности и уважения к другим, которое они проявляют иногда в обращении?

Смогу ли я согласовать мои дни, одинаковые и незнающие уклонений, с их вулканическими днями? «Как быть?» — говорит иной раз Клара и бросается на свою кровать, рыдает, зарывается в нее, время рушится и умирает, — день, два дня, внезапно она встает: она забыла контору, забыла обед, все забыла. Она прижимает лоб к стеклу, и желчь ее слез изливается горько.

Если мы действительно сблизимся, простят ли они мне мою прибранную комнату, мои заботы о точности, о порядке, о равномерности? Когда в начале нашего соседства они говорили обо мне: «Вы знаете, маленькая француженка, которая уходит и возвращается всегда в один и тот же час, которая не шумит и пудрится», то этого было достаточно, чтобы описать меня.

Бежит скачками и набухает порывами ночь, объединившая эти серьезные существа. Далия таит внутри огненную росу, и Маркович следит за ней зелеными зрачками своих глаз-корешков. И вот, неожиданно, им, запылавшим всем вместе, приходит на уста песня, — кто бросил искру? — и комната загорается как камин, светясь голосами...

Пятнадцать смешанных огней, но единое пламя. Это песня страшная и растущая, сотрясаемая толчками, сдавленная глухими спазмами, где радость становится безумной, смех заставляет содрогаться. У них в пении

то же молчаливое рвение и внимание, которое они вносят всюду...

Я сижу в уголке маленького камина, и мне, укрытой от их взглядов, хочется попросить у них прощения в непонимании их горячей песни, в том, что я не в созвучии с ними, просить прощения во всем, у всех...

Я хотела бы... я хотела бы...

Я не видывала на земле того, кому было бы нечего прощать другим, и кто сам не нуждался бы в прощении.

Быть с ним равной, близкой, лицом к лицу и *единственной с единственным.*

\* \* \*

Мы были все трое, оба Луазо и я, в узком прямоугольнике, что служит им столовой, навощенной и устланной циновками, столь напоминающей приемную в монастыре.

Вечер, густой вечер снаружи суживал стены своей тайны. Чем более он чернел, тем более слабело желание подняться, чтобы зажечь лампу. Прежде всего, к чему? Вся комната была полна огнями. Они вытягивались прыжками, издавали веселые красные щелчки, отбрасывали большие светлые круги, потом над очагом нависали танцующие языки пламени, оранжевые гребни гор, шевелюры, пронизанные голубыми молниями, откровенные гримасы демонов... бездны, волшебства, обвалы, безумства.

Каждый из нас был усыплен, замкнут в своей немоте. Тень тихо трепетала за плечами и перекатывала



там сверху, под затушеванным потолком, немного мертвое молчание, исходящее из нас троих.

Я, запеленутая, сидела перед камином, глаза во власти раскаленного потока, выставив подбородок. Оцепенелое блаженство располагалось кругом, трепетало в стигах рук, окутывало затылок: не думалось ни о чем.

Оба Луазо из тех людей, что хорошо умеют молчать; мы проводим вечер у них потому, что сегодня суббота, и все показывает нам, что они довольны присутствием, заставляющим колебаться в комнате три силуэта: все нам говорит это, кроме их самих.

Они не очень стары, но нельзя не сказать, что они старые холостяки, потому что в их обществе не чувствуешь более этого терзающего раскаленными щипцами принуждения, этого неудобства быть женщиной, которое вызывают *другие*.

Вы приходите, они вам протягивают добродушно руку. Бесконечно терпеливый Реми принимает мою шляпу, мои свернутые шариком перчатки, мое пальто, на которое он наступает, и, слегка встревоженный, путаясь в ноше, он надевает его на вешалку с такой неуключей осторожностью, что шляпа катится на пол. Я усаживаюсь, они тут же. Мы говорим о конторе, — невозможно же принудить себя ничего не говорить, и когда все исчерпано, я предлагаю устроить чай. Это стоит предложить хотя бы для того, чтоб возбудить их лакомые глаза старых холостяков: «о да, чай», можно сказать, что они мурлыкают.

Я принимаюсь за дело с непринужденностью, ставшей мастерством, возможно, что одно мгновение я вновь ощущаю себя женщиной между двумя внимательными

мужчинами, и они делают из меня домашнее божество, то самое, что исполняет обряды и оделяет пищей, предлагает молоко, не что иное, как облако, и которое созерцают в согбенном положении. Это заставляет меня ходить типе, мелкими, частыми шагами, со стесненными жемами, не перемещая тени.

Два моих старых друга...

Реми продолжает читать с безмятежным вниманием, которое напрягает его тяжелый лоб, владеет всем его существом и сжимает его кулаки—два неопределенных куба поверх страницы. Миге (когда я на него смотрю, я тоже зову его Миге), склонный сегодня к болтовне, крутит папироску, роясь в памяти:

— А в первый-то день, когда вы пришли в контору, какой у вас был застенчивый вид!

Воспоминания имеют непреодолимую силу. Реми выплывает из своего угла, его добрые глаза простирают свои лазурные убежища к приманке, которую им предлагают—образ, подвешенный на конце нитки, выцветшие персонажи—и нужно признаться, что мы все этому поддаемся; ибо одинаковые улыбки растягивают наши лица.

— Звонят!.. Ну, да же,—позвонили!..

Тройной раскат звонка раскидал наши головы, и его резкий зов протянул тонкие колебания. Реми подвинулся враждебный и покорный: — это он всегда отворяет дверь.

Всякое ожидание тягостно, и даже это, когда ничего не должно произойти. Душа отступает, сжимается и остается место для неизбежного несчастья, для порхаю-



щего видения уходящих вещей. Ибо жизни в каждое мгновение достаточно времени, чтобы изменить лицо.

Долгий порыв ветра врывается в комнату, донося молодой мужской голос: мне хочется уйти. Оба Луазо окружают его: — Какой сюрприз! Как это мило! — Они потирают руки: — Входите же и садитесь.

Слишком поздно уходить, ибо незнакомец уже склоняется предо мною, и восклицания, соединяясь воедино, счастливо заглушают бормотание, которого я сама стыжусь.

Вновь прибывший уселся у огня на маленьком черном стуле, справа от Миго, и не захотел, чтобы зажигали лампы. Но теперь уже не то, наше молчание совсем расстроилось, и томность, бывшая до его прихода, и тепло — тоже.

Сидя таким образом, мне очень хорошо наблюдать его. Сколько лет? Тридцать четыре, тридцать пять лет, быть может. Ну! Правда ли он красив? Неизвестно — он слишком черный. Крепко сложенное лицо его, с впалыми щеками, спускается ото лба, твердого, как молот. Оно утончается у основания вытянутой линией челюстей, освещено смело-открытыми глазами, где серый цвет внезапно кажется погруженным в фосфор. Движения сдержанные, скорее властные. Он говорит мало, но этот пылкий голос контрастирует с его редкими словами, придает им цену, заставляет их выходить полными воодушевления из недр земли, в то время, как он остается прямым, словно отдаленным, а сверканье жаровни озаряет и перемещает лоснящуюся черноту волос.

... Да, ведь мы еще не пили чаю. Только бы он был сегодня во-время!

Одну за другой вытаскиваю я из их тайника прекрасные, прорезанные золотыми нитями, чашки, единственную — вышитую столовую салфетку, чайник с золотым носиком, и обесцвеченные вечером цветы. Вот сервировка во всей ее роскоши. Зарыв так голову в этот полусумрак, запеленав верхнюю часть тела в руно тьмы, как хорошо быть среди них, защищенной своими движениями, стоя, чтобы наблюдать это блаженное трио. В особенности его. Ибо рядом с ним, едва говорящим, оба Луазо, сияющие и словоохотливые, внезапно приобретают тусклый и невзрачный вид.

Сладкое зрелище, совершенно новое для меня, эта группа из трех лиц, где торжественно возрождается общее детство, нежные прошедшие радости, исчезнувшие имена. Они почти забыли, что рядом с ними находится женщина, и это меня успокаивает.

... Но если *он*, когда поднимет глаза, когда увидит меня, вспомнит об этом, вежливо обратится ко мне и под любезным медом привычных фраз зажжет между нами знакомую вражду. Нет... не он... не это. Он так честен и прям меж своих двух друзей, он говорит с такой правдивостью, без прикрас, без заботы об эффекте: только не это!

Я протягиваю каждому из них, трепеща, чашку, которую они-то принимают бестрепетно, и быстро в темноте-покровительнице возвращаюсь туда, где вырыто и еще не остыло мое место; я возвращаюсь слушать это присутствие, которое поражает меня и которое отстучивает мое сердце.

Он заговорил со мной.



Он говорил со мной, Господи, как ни один человек еще не делал этого: не стараясь меня видеть, не желая мне нравиться, без заднего умысла, так же, как с двумя другими, так же, разумеется, как он говорит с самим собой. Так, значит, это может случиться, что услышишь из глубины обыкновенной мглы и непредвиденного вечера от мужчины истинные нагие слова.

Я отвечала с той же доверчивостью, у меня больше не было никакого страха, и мне больше нечего было защищать, но была только радость, которая служила мне. И я отдавалась благоуханию слов, что поднималось среди нас четверых.

От пылающего камина исходит живая теплота, прижимающаяся к щекам; вытянутые и напряженные шеи тянутся и тянутся к красной точке, к центру так же пылающего разговора. Этот незнакомец подле меня кажется королем, склонившимся на край фонтана; свет вылепляет его улыбку, кует этот знакомый мне лоб... Все ли он еще незнакомец?

Но внезапно, который час?—Двенадцать минут двенадцатого! Пора идти.—Да, да, нужно идти.

Толчок, поднявший меня, расстроил всю группу, вопрос в том, кто пойдет меня провожать... и я должна отвергнуть три предложения зараз.

Протяните мне эти братские руки—я хочу идти одна. А вы поднимите на меня глаза, столь непохожие на глаза других мужчин...

Спускаясь, я принимаю на свою голову в пролет лестницы дребезжащие и сотню раз повторенные советы которые Реми бросает мне через перила каждую пятницу: «Не бегите так скоро, будьте внимательней».

Последние изречения катятся как шары. Не бойтесь ничего, мой старый друг Реми, возвращайтесь к себе — я уношу с собой огромное изумление, увлекающее меня в свой круг. Мне хочется танцевать, мне хочется плакать...

Внезапно голос потух вместе с конусом света, заставлявшим колебаться ступни.

Вот улица. Это узкая и страшная улица, полная прозрачной тьмы, которой касаешься руками...

Куда идет глубокое небо, за которым следует бледное стадо облаков? Куда идут великие порывы, которыми обладаешь?.. Здесь на земле существует человек, чистый по голосу, честный по взгляду, человек-брат, и я встретила его.

\* \* \*

Впервые я рассказала себя живому существу. Не столько словами, подробностями, эпизодами, сколько глубоким желанием приоткрыть мою глубокую душу; дать, наконец, достоверный признак.

Говорить о себе! Это существо загадочное, бесформенное, неуловимое, горячее, дробимое противоположными течениями, беспрестанно умножающееся, это существо, которое я *есмь*: высказать его! Высказать его честными устами, с поднятыми веками, нежным голосом, молчанием.

Я никогда бы не поверила, что возможен подобный дар, и когда мы увиделись в воскресенье — нет, я еще не знала этого.

Я топталась, уже озябшая в изогнутой линии людей, образующих хвост у маленькой двери театра, на дву-



франковые места, когда, случайно обернувшись, машинально перерывая лица, за восемьдесят рядов позади: он...

Две недели прошли с последней пятницы, и мой радостный взгляд так устремился на него, что голова его послушно повернулась. Он видит меня, светлеет. Толпа вокруг нас заинтересовывается. Женщины со своим любопытствующим бесстыдством, мужчины насмешливо, но ни один, разумеется, не согласился пошевелиться. В промежутках между шляпами наши оживленные ветром щеки. Мы обмениваемся приветствиями, и я скорее угадываю, чем слышу его желание видеть меня. И вот тогда-то у меня явилось впечатление, что я кидаюсь в воду.

— В будущее воскресение у меня—хотите?

Неведомый поток уносил меня. Должно быть, некоторые предрассудки крепко укореняются: что удивительного в том, чтобы принять его в моей комнате? Мне казалось, что моя затея трубит на все четыре стороны света, и когда прозвучал ответ, спокойный и естественный, я больше не имела смелости взглянуть ему в лицо и я притаилась с пылающими ушами за господином в крылатке, который уставился на меня взором фавна, насмешливым и упорным. В продолжение всего концерта я жила попеременно, так, словно совершила преступление или блестящий подвиг.

Крикнула ли я ему: — Два часа?

Поднявшись на рассвете, я все приготовила к бездесяти двум. Цветы и листья, принесенные с рынка, имели досуг привыкнуть к воздуху и смешаться с ним;

чашечки анемонов поутру в форме раковин, — распустились вокруг толстых помпонов черных пестиков; задрапированная таким образом кровать больше не имела вида кровати, и моя комната, тщательно отделанная и прибранная уголок за уголком, сверкала, как драгоценность, и походила на подлинный дом. В последний миг я надела мое белое шерстяное платье — то, что с крученым поясом, с полукороткими рукавами, и самой трудной заботой было сооружение моей прически: не казаться трепанной, окруженной загоревшимся кустарником; и тем не менее быть немного красивой, о радость, красивой, нравиться ему: я свирепела, глядя на мое отражение в зеркале.

Без пяти два. Три маленьких удара, три глухих толчка, три эхо. Это был он.

Моя рука дрожала немного, когда я протянула ему ее, и когда его взгляд пробежал по мне, мною овладело странное чувство стыда, заставило меня похолодеть, я быстро собрала мой шарф и спрятала в нем руки. Этот первый страх скоро рассеялся: он принес великую непринужденность тех, кто обладает только своей простотой, всю свою серьезность мужчины, все свое внимание, свою славную, полную уверенности улыбку, он был здесь, и я чувствовала его спокойствие, проникающее меня.

Мы сели. Я уж не знаю, ни с чего мы начали, ни благодаря какому стечению слов случилось ему рассказать о своем раздробленном детстве, своей молодости бедняка, своем вольном настоящем... Я слушала год за годом, лицо за лицом, место за местом, и внутри меня все большая и большая пустота заполнялась надеждами и мыслями, которые как будто всегда обитали там.



Какой приток нежности, какой пыл и сколько простора, и сколько... я едва дышала...

— Ваш черед!

Он был в двух шагах от окна, сидя несколько против света на моем маленьком стуле, и из глубины кресла, с белыми хлопьями моего шарфа, круглящегося у ног, я видела совсем близко оттенок его взгляда.

Это было менее определенно, менее строго, и я терялась кой-где, останавливалась, не зная более, что сказать. Тем не менее свет все же зажигался перед его взором, мы вместе двигались вперед, столь же радостные, столь же схожие, как если бы мы держались тесно за руку, и мое легкое прошлое приобретало вес.

Мы говорили о любви—о ней говорят всегда, как только заговорят о себе—но не отличая ее от нас. Кто может сказать, что такое любовь? Любовь это я, это он; в день, когда я полюблю, любовь изменится и уподобится мне, и уже не будет той любовью, о которой говорят. Это буду я же, но одухотворенная.

Когда мы замолчали в устоявшейся атмосфере комнаты, имея души на одном уровне, и мой взгляд вонзился в кремовый муслин занавесей, я услышала, что он находит меня красивой. Признаюсь, что я ожидала этих слов. Мне хотелось бы обнять их, видеть их встающими без вожделения, и что б они были только моей жаждой красоты...

Тогда я, кажется, закрыла глаза: нежный союз образовался между моим видимым телом и моим скрытым существом. Я составляла одно. Это было благодаря ему...

Сколько времени оставались мы так, один против другого, торжественные и улыбающиеся? Я хорошо не знаю...

Час оставался неопределенным, настольный букет, отбрасывая свои лепестки, протягивал нам свое черное сердце; легкое дыхание, жемчужно-серого цвета, шуршало тюлем занавесок.

Если он ушел, то это произошло без перелома, без толчка, без того, чтобы что-нибудь кончилось. Я едва почувствовала, что он взял мою руку, что он возвратил мне ее, что дверь открыта и что я вернулась к оставленному креслу, в комнате, увеличенной отсутствием и присутствием, с отяжелевшими руками и смутным сознанием...

...Кто говорит? Что такое?

Схваченная в сетке узкого света и словно попавшая в ловушку, выскочила разрисованная голова мадам Ноэль, живая марионетка. Она *здесь*, теперь?.. Взрыв нетерпения, и я подхожу. «Поздравляю! Это красивый малый». А! На этот раз уже слишком!... «И лицо же у него! и глаза же! Bravo! В добрый час!» И, разматывая цепь своих улыбок, маленькая мордочка в муке скрывается под крышкой, сеть света утончается, подчеркивает позолоту дверной рамы и растворяется в сумерках.

Одна... Но разве я все еще одна?

Сквозь стекла, холод которых освежает мой лоб, улица чванится своим воскресным отдыхом, и комната, куда я возвращаюсь, замыкает в своих стенах роковой и торжественный вечер; крепнущий запах поднимается как фимиам, камин в цветах напоминает алтарь с пучками свечей.

Я не знаю... Я не знаю...



Он часто опаздывает. Я хорошо заметила—почти всегда это я ожидаю его. Там, в его конторе, занятия кончаются в то же время, что и у меня, но разделяющая нас дорога длинна, и время кажется мне долгим до того мига, когда я завижу издали его шляпу...

Первые минуты проходят незаметно, ибо с тротуара, где я стою, разворачивается перед моими глазами семичасовой исход из магазинов. Не было дано никакого сигнала. По таинственному приказу, в некий положенный момент черная волна сжимается у истока дверей, стискивается возле устья и там, как приветствие вольному свету, издает тысячу восклицаний, образующих единый облегченный крик. В этот вечер свет еще ярок, и вырвавшаяся толпа не расположена спешить: томность воздуха, звучность, полосатая улица, жужжание пространства... Она меняется, остается, застыв на месте; решится ли она расплыться, наконец?

Когда окончишь день, трудно ведь вернуться в ослепительный мир, не подивившись на праздничное небо, не моргнув глазом... Лето бьет в стекло... хорошо все же чувствовать себя на ногах и расправить легкие. Вас задевает группа, в которой лица насмешливы, слова заманчивы, и если слышать друг друга, то так бы и остался здесь наблюдать за другими, засунув руки в карманы; но дело в том, что вас ждут дома, и круг, едва замкнувшись, почти сейчас же разрывается, со снисходительными приветствиями, кидаемыми через плечо.

Хороша или дурна погода, женщины если и спешат, то в тайном стремлении показать себя всем. Те, которые

только что заставляли кипеть толпу, нагнув лоб, и расставив локти—пробивайтесь же,—первые округляют свои жидкие бюсты, особенно медлят уходить, чирикающие, с выгнутыми спинами, с крылатыми движениями.

Улица опустела. Женщины прохаживаются еще, опустив голову, взад и вперед вдоль четырехугольников домов; они тоже кого-нибудь ожидают.

Вот он!

Из глубины волнующейся улицы, сквозь водоворот, одна форма его шляпы оповещает меня, и я чувствую себя исполненной той уверенности, которую он приносит с собой появляясь. Я двигаюсь навстречу ему, невольно улыбаясь, пока он спешит, и когда наши руки соприкасаются, мое сердце расцветает... Подавляющий миг... Уничтожающее волнение... теплый восторг... слияние... И каждый вечер так, как будто я его никогда не встречала...

— Пойдем по бульвару. Так хорошо. Ведь у нас достаточно времени!—Наши освобожденные от скучных вещей вопросы сталкиваются, не ожидают даже ответов, овладевают всем: тем, что сегодня произошло, всеми мелочами и всем, и всем, наконец.

То, что мы в действительности слушаем—это наши шаги, вылепленные один по образцу другого; они имеют одинаковую форму, издают тот же звук. Откровение. Переполненное сердце. Это единый шаг несет нас.

Мы идем рядом, и расстояние, проходящее между нами, не разделяет нас. Целое шествие нар следует за нами и предшествует нам, движимое страшно ритмической медлительностью, которая им пролагает путь.

Мы перечислили все, все что мы знаем, и все, что мы *суть*, и нет надобности быть подобными, чтобы



быть братьями, ни исходить из одного корня, ни пить из одного источника: нужно служить тем же сердцем бесподобной истине, которой живешь.

Нет, дело не в том, чтобы быть подобными. Разве я не видела сотню раз, что мы совершенно различны? Как можно желать, чтобы это было иначе? Как вообразить, что наши столь различные тела, наши неравные годы, наши определенные натуры, наши противоположные участи, могут взаимно открыться тому же влиянию? Даже самые ничтожные вещи мы принимаем каждый согласно своему темпераменту, каждый про себя. А эта подвигающаяся к нам улица, перегруженные цветники больших многоцветных кафе, толпа с пылающими глазами, разводы едкой пыли, разве он их видит такими же, какими вижу я? Это мгновение, то же ли оно самое мгновение в нем? Я хорошо знаю, что нет...

Остановка. Где пройти? Уничтоженный гулом, гочерневший от тысячеланых прохожих, кипащий пятнами, пересекаемый болидами, звоном, звуками гудков, и взрытый грохотом, огромный перекресток изливает на город свой механический вулкан. Бежим. Он продевает свою сильную руку под мою, и веселыми шагами мы, наконец, достигаем, сияющие, задохшиеся, твердой земли.

Вот бульвар, где, наконец, можно вздохнуть, потом старообразная и спокойная провинциальная улица, где свило гнездо молчание; мы углубляемся в нее.

Но... я не остереглась, и краска выступила у меня на щеках: его рука все так же под моей рукой, уверенная, естественная; как я не подумала, что оно всегда бы должно быть так?

Осмелюсь ли я сказать ему, как мне сладко чувствовать его подле себя, наши две сблизившиеся жизни, наши сплавившиеся души; как мне это *необходимо*.

Чувства спешат, радость спешит тоже, и мне трудно следить за ним. Когда сердце мое утихнет, да, Господи, я скажу ему, я почувствую его дыхание на моем голосе, его жар у моей груди и эту явную волю, что бежит, выйдя из смеющихся лиц домов, падая с неба, обложенного розовой ватой, я послушаюсь его.

Мы приближаемся к моему жилищу.

Еще вот эта улица, где грациозный ветер танцует ради собственного удовольствия, еще несколько мгновений, и мы покинем друг друга.

Покинем друг друга?

А! теперь я знаю, что нужно сказать. Я знаю, чего желала воля настоящей минуты, и моя жизнь, и его жизнь; я найду слова...

«Послушайте. Я нашла. Не будем больше расставаться. Никогда. Да. Это я прошу вас об этом. Будем жить вместе... Я не могу сказать другого—это включает все, в этом все: жить вместе. Любовь ли это? Еще неизвестно... но я знаю, что нужно жить вместе, и вы, вы тоже знаете это».

Мой голос так раздался, что в нем привкус слез, и мое пересохшее горло откашливает и удерживает его. Он взял мои руки, он притянул меня к себе, сочетаясь взглядом с моим взглядом, стремящимся ускользнуть, поддерживая своим телом мое тело, принужденное и недовое, которое пытается остаться вертикальным и которое только трепещет.



Улица исчезла, шум вселенной, заходящее солнце, которое прославляет там, в золотой славе, святые помолвки.

И я, под моими опущенными веками, не слышу ничего, кроме черного тяжелого маятника с быстрыми ударами, который колотит в мою грудь и размеряет отныне наши связанные существования.

\* \* \*

Моя семья ликовала.

Видеть меня вернувшейся сквозь замужество в *приличную жизнь*, из которой я так давно ушла... В их успокоившихся глазах я приобрела цену, я стала кем-то. В пылу первого мгновения у них явилось впечатление, что они мне простят все.

Ликовали. Мне было принесено прелестное платье, я была предупреждена, что устраивается большой обед, чтобы дать возможность будущему мужу познакомиться, несмотря на мое отвращение, я попала в зубчатое колесо, и мое желание снова увидеть маму все превосходило.

Это она сама разрушила его. Могла ли я смотреть на ее презрительное отношение к бедности человека, на ее испуганную покорность перед суждением света: «Ты знаешь, ты возвращаешься, так сказать, из Англии. Мы сообщили подробности, не опровергай нас». И притворное почтение, которым она меня окружала, и мысль о том авторитете, которым замужество освящает девушку...

Было чего на самом деле испугаться: их радость имела привкус мести. Какую удушливую добродетель

может иметь замужество, какой гнет, какое поражение, какие цепи меня ожидают: так значит, я иду в тюрьму?

Но мне было достаточно обратиться к *нему*, омыть мой взгляд в его ясных глазах, чтобы обрести вновь мою уверенность и наш полет. Для них брак был, разумеется, непреложным концом, кольцом, охватывающим вас, он есть наказание того дикого и свободного инстинкта, что исходит вместе с дыханием; для нас это лишь слово.

В продолжение обеда время стояло на месте, каждую скорченную, лживую секунду, и какой-то ядовитый смрад исходил из поз. Мне казалось порой, что я никогда не покидала этих коварных мест, и эти волооченной мебели; я держалась очень далеко от него, внешне равнодушная, но в действительности это было для того, чтобы спасти от непосвященного взгляда нашу невинную любовь.

На мгновение нас оставили одних, и это за целый вечер (который был едва неделю тому назад) — единственная картина, о которой я храню воспоминание. Когда я говорю, что мы были одни — это не совсем точно; принцип запрещает оставлять молодых людей хоть на одно мгновение. Моя сестра и здоровый малый, ее жених, были с нами, и мы не очень звали, которая чета была поставлена у другой на страже.

Они, нежно обнявшись за талию, принялись целоваться, взаимно сжимая друг друга; она протягивала губы, извивала змею своего тела, возбуждала его, и когда они несколько утомились и губы их всухли, я услышала вздох дикой фразы, закончившейся так: «Вы будете меня всегда любить?» — «О, да, всегда!» прошептал он ей на ухо.



Я покраснела, не от оскорбленной скромности, помы никогда не думали об этих клятвах. Они показались мне безумными. Как можно клясться, что будешь любить всегда, сказать мужчине: «В вечности твоего сердца, я буду прекраснейшей, единственной». И *всегда, и никогда*, эти слова, которые жизнь изменяет в любую минуту, как живое сердце не обличило их?

У меня был, должно быть, несколько дикий вид. Моя сестра обернулась, увидела нас замкнутых, скорее мрачных, далеких, по вине той же мысли.

— Ну, холодны же они для влюбленных!..—и в виде реплики она поцеловала своего жениха.

\* \* \*

Он очень развеселился, привратник с тройным животом, приняв от нас задаток. «Деньги, идущие от влюбленных—не деньги. Это талисман».

И если он неожиданно возвратился и, сладко картавя, предложил нам «свечечку,—бывает, что господа и дамы забывают предусмотреть»,—то это было в общем для того, чтобы подстеречь обаяния или смеющийся спор, перебитый поцелуями.

Итак, она очень хороша, эта квартира со своими комнатами, как три ячейки, протягивающие друг другу руки. Летом она должна быть светлой, лестница очень чистая, двор сверкающий и опрятный, с зеленой аллеей цветочных горшков; наши окна целиком выходят на в расушки деревьев. Дерево в Париже—это такая редкость. По утрам весною нас будет расстреливать птичий крик.

Так, значит, мы будем жить здесь. Эти комнаты, где воздух низок и почти сперт, в которых пол из тонких

планочек, будут нашим государством, нашим уделом; эти стены будут нашим горизонтом.

Итак, когда я была ребенком и по вечерам, закрываясь покрывалом, я мечтала: «быть большой», когда я в пятнадцать лет говорила себе: «После», для того, чтобы видеть эхо иного волнующего и запрещенного слова, мои безумные сны ожидали меня здесь... Здесь был конец легенды, вот это и было тем миражем.

Вчера еще это место не имело никакого смысла существования, кроме пожелтевшего объявления, оборванного от времени и качающегося под крылом улицы. А теперь наша двойная жизнь нашла свой храм, избрала свои стены и обозначила свою точку соприкосновения.

Так, значит, вот это мы будем называть «домом»! Когда вас на улице хлещет дождь и ваши шаги хлопают, когда ветер творит кораблекрушение, это будет непреложной гаванью, что тихо приближается. Всякий раз, как будет приобретен новый друг и когда ему будет сказано все, но еще не молчание, то для того, чтобы даровать ему наш сокровеннейший образ, мы поручим этому порогу и этим стенам осыпать его приветствиями. И когда в мае вас пробуждает золотой день и когда кидаешься к окну, чтобы почувствовать на своей щеке слепящую ласку, когда исполнен неведомых желаний — вот эта задвижка повернется, чтобы впустить дыхание зари.

Когда возвращаешься из бледных комнат, маленькая столовая кажется несколько менее заброшенной. Потолок еще хранит следы арматуры, он показывает, откуда исходил благостный свет; фриз развортывает на бегу свои красные арабески и, перед камином из поддельного



коричневого мрамора, в том месте, где невидимые пальцы огня наложили в углубления свои обуглавшиеся следы, все еще как будто тепло.

Кухня так мала и так похожа на игрушку, что в ней нет ничего, даже забвения. Несмотря на свой щербатый пол, стол для мытья посуды, с разошедшимися скважинами, плиту, опущенную ржавчиною, она единственная комната, которая не вызывает о помощи. Достаточно будет запахов и бликов, чтобы она стала живой

Вот теперь пришло время воплотить жизнь, подлинную, не ту, о которой говорят. До сих пор любовь наша покоилась на глиняном основании, она была легка, едва уловима и похожа на слова; это была — я хорошо знаю — любовь, которая еще должна прийти.

И вот ее нужно поставить лицом к ее собственному королевству, обозначить ее собственные берега, поставить ей вехи, потребовать от нее блеска, в действительности принудить к испытаниям. Пусть говорит и вдохновляет нас. Позднее, когда вокруг нас будет уже расставлена мебель, как уже готовые, сложившиеся фразы, нам будет не так легко.

... Хочешь, эта комната будет твоею? С этими матовыми обоями, где анютины глазки сжимаются и выравниваются, и этим уголком, приготовленным для дивана, она создана для тебя. Посмотри, она ждет тебя. Я буду жить в другой, ради шкапа, куда я повешу мои платья, и на выбеленном краю окна мне будет хорошо склоняться, чтобы вдыхать поднимающееся время.

Мы будем навещать друг друга. Мы будем свободны и спокойны: ты приходишь и уходишь, ты принимаешь

своих друзей, ты делаешь то, что хочешь, ты не обязан никогда мне ничего говорить.

Но чтобы быть довольными, чтобы крепко хранить когорту радости, которой обладают, когда остаются одни, нам будет, может быть, трудно.

Эта разделяющая нас стена, в конце концов, не что иное, как тонкая переповка, сквозь которую будет просачиваться соседнее присутствие; когда твои друзья будут вокруг тебя, в пылком шуме, что источает дружба, они услышат внезапно, проходящую, как посторонняя, некую тень, у которой будут движения женщины; в глубине их сердец они соединят нас, тебя и меня—ибо чужой брак—это несколько похоже на кражу,—ты даже не будешь догадываться в шуме их голосов, что именно в это мгновение они уйдут от тебя.

Ты действительно веришь, что мы будем счастливы? Но я, я не хотела бы, чтобы твои друзья уходили: мне кажется несправедливым, что ты будешь менее любим из-за любви. Уверен ли ты, что человек имеет право возложить свою самую чистую надежду всей жизни на одну голову, и что во имя любви избранное существо может остаться лучшим?.. Скажи, ты уверен, что его не возненавидишь за это?

И самое прекрасное единение, может ли оно *оставаться* прекрасным? Ибо нечего говорить, мы подпишем договор; это стремление, которое есть мы сами, это постоянное ожидание, это преследующее нас опьянение, что делать с ними?

Ты знаешь, мы будем иметь только нас самих, против нас самих. Вещи в свою очередь захотят овладеть нами. Когда тесное жилище воспримет наши формы, и



когда будут стулья, чтобы внушать привычки, и стенные темные часы, с биением и мерным говором, и мягкой душой, они отягощают на нас, как нежное, привычное пространство, и будут повелевать.

Тогда множество желаний, великолепные тайны, ниву печали, кочующую надежду, их нужно будет ввести всех сразу сквозь сросшиеся дни и эти четыре двери. Скажи, как можно это сделать? И счастье, *истинное* счастье без удержа и понуканий, его нужно запереть здесь, а не в другом месте. И для нас, двух непохожих, нужно ли, чтобы оно было одинаковым?

Детям рассказывают в сказке, состоящей из фей и чудес, что была некогда принцесса, платье которой, ты знаешь—тяжелое, выложенное галуном платье, по волшебному повелению проходило сквозь кольцо шириной в палец.

Любовники и помолвленные думают, что знают любовь. Но они не жили вдвоем, вдвоем—и *каждый день*, они не знают, что это такое. Те, что любят, как в книгах, выходят не для того, чтобы идти далеко, и если дорога, на первом же повороте, разнесет по ветру горящую солому, беда не велика: достаточно другой искры, чтобы зажглась другая солома. Есть также и такие, которые *отрекаются* от всего, что они собою представляют, склоняют колени и предаются любви.

... Но другие, те, которые не созданы из мрамора, годного для героев, те, которые не желают ни лгать, ни отрекаться от чего бы то ни было, те, которые не имеют жалости к „*другому*“ и не боятся самих себя, те, которые любят друг друга, как в жизни, те, наконец, которые, как мы, как нужно поступать им? Ты знаешь.

может быть, лучше моего, ты мужчина, и ты старше меня годами, но я вопрошаю себя?..

Я была готова, как готовы женщины к великим, невозможным вещам. Я никогда не думала о них совершенно ясно, но я чувствовала мои чувства, пронзающие меня сильными ударами ножа. Они зажигали меня всемогущим вдохновением, и если бы нужно было низвергнуть горы, пробиться сквозь огненный поток или умереть вместо тебя, я бы сделала это одним порывом, закрыв глаза.

И вот, наступило испытание: почему оно никогда не бывает испытанием, которого ожидаешь? У этого только жалкие жесты, обычный облик, строго ограниченный объем, однообразные, подготавливающиеся одно за другим мгновения. Оно останавливается как раз возле укороченной тени, льнущей к твоим ногам, и мои руки, которые я хотела раскрыть, ты видишь, — свинцовые руки.

Прежде чем войти сюда, любовь походила на тебя, и будущее сверкало, как начинающийся праздник. Что осталось от всего этого? Я не слышу больше в ушах моих золотого перезвона обещаний, я больше не ощущаю осанки моего сердца, и в этом темном уголке, где находишься ты, я тебя едва вижу.

... Да, я вижу вокруг себя маленькую квартирку, где несмелый вечер еще не имеет своего места; молчание обнажено, жизнь показывает нам свой остов, сквозь помутневшие стекла видно, что час имеет красные глаза, и в их неприсклонной правде стены перед нами — четыре стоящих свидетеля.

И мне хочется бежать.



Когда все разместились, кортеж, по щелчку бича, тронулся.

Оборот колес, и головная карета потянула за собою всю вереницу, забрызгалась солнцем и заставила рухнуть молчаливые массы улиц. Внутри продолжали жаться: дамы прилагали все усилия, чтобы усесться как можно прочнее; там был такой шелест шелка, такие выкрутасы, что мужчины, в конце концов, сели, повернувшись к ним в три четверти, с ногами полными осторожности. Уже стало лучше.

— Какая чудная погода, — сказала одна из двух дам, — в этом им посчастливилось! — Никто не ответил. В ожидании одушевления, которое всегда, в конце концов, приходит, дамы стали любоваться через опущенное окно бегущим перед ними неизвестным кварталом, где дома глотают друг друга, и люди, одетые по будничному, останавливались, как вкопанные, чтобы оглядеть нас завистливым глазом.

Вторая коляска отъехала очень скоро: кучер сдерживал своих слишком резвых лошадей.

— Как хотите, но это славная невеста. — Как все очень старые дамы, эта походила на вдову: она распространяла, разговаривая, несколько мелочную скорбь, которая осеняет стариков и защищает их, когда нужно.

— Ба, такая же, как другие; что говорит за нее, это, что она блондинка: брюнетка в платье невесты всегда кажется мухой в молоке. По крайней мере, таково мое мнение...

Этими словами разговор завязался; он шел легко, одно замечание влекло другое, придавало ему жизнен-

ности: они были в шелках, чувствовали себя окруженными пышностью и участвовали в важном обряде.

— Мне говорили, что она убежала из дому прошлый год с...

Экипаж встряхнулся, поехал косо, но не расстроил группы; всякий чувствовал себя связанным с тремя другими определенно возраставшей симпатией.

Какой же дух объединял эти экипажи? Одна и та же одержимость дразнила всех этих людей: невеста явилась им в своей звездной белизне, сохраняя перед их глазами непрекращающееся излучение, и всех их занимал вопрос о ней.

— Я не допускаю два мерила и два веса,—говорила дама другой даме.—Для свадьбы другой сестры,—ну, скажите мне, чего только они не сделали? А для этой, бедняжка... Никакой торжественности!.. что угодно, но, по-моему, несправедливость.

Ее голос несколько вздрагивал из-за мостовой,—это налагало словно рябь на все слова, но ее соседка была погружена в мечты и ничего не замечала. Торжественный день вставал в прошлом, когда она тоже шла в белом...

— Через месяц двадцать семь лет. Как оно бежит, однако!..

На этом воспламенились.

— Она заключает невыгодную сделку: у него нет ни гроша...

— Вы забываете, что ей стукнуло двадцать два года, а мужей нужно брать, когда находишь, они теперь на земле не валяются...

Пот выступил на жирных лбах. Произошла остановка. Что такое? Затор экипажей? Несчастье? Высунувшиеся



из дверец перья нежно осеняли рыльца водосточных труб, делающие друг другу знаки: Садитесь на место, ничего не видно, и, знаете, вы ломаете вашу эгретку: ну вот, я вам говорила...»

Поезд сократился по длине, словно причудливое пресмыкающееся, свивающее свои кольца.

«Эге. Я знаю кого-то, кто не будет скучать сегодня вечером».

Смех обострялся, скрывался в углах губ; как раз настолько, чтобы дать понять, что понимаешь друг друга, что обладаешь собственными воспоминаниями и что, тем не менее, находишься в хорошем обществе... Но эта дама, со своим всезнающим видом... Что такое, наконец? Не дожидаясь, чтобы ее попросили, она героически раскачивает свое туловище и через рюш, украшающий голову маленькой девочки, приближает к своему три остальных лица. Шопот заставляет их отклониться назад, лоснящиеся, вздутые, как животы: «Быть не может!»

Послышалось хрустение ботинок, шорох трехэтажного платья; потом карета покатила вьновь, дробя улицу.

Пришли смехи юности. О, не слишком громкие, но нечто сладостное и неопределенно благочестивое скрывалось среди них. Она была еще не барышня: четырнадцать лет; за ней не было ничего, кроме ее тощих чувств, но они ее поддерживали прямой и важной, как инфанту. Наклоняясь вперед, она могла видеть невесту. Невеста... это белое слово порхало вокруг нее, как легкий мячик... но едва она замечала ее, как глава ее опускались. Ею овладевало то же чувство, как в воскресение за обедней, при виде поднимающейся Гостии, оправленной за солнце, то же чувство, что при звуках шарманки, пере-

малывающей музыку: экстаз вздымался в ней, и его надежды пели ей: «И я тоже, в один прекрасный день»...

Последний экипаж держался на расстоянии. Это была низкая карета с туманными стеклами. Букет, вытянувшийся как фейерверк, распространял в нем свой растительный запах: головы долго оборачивались вслед его быстрому бегу и оставляемому девственному воспоминанию.

И я была невестой, я была там. Я подчинилась мольбам мамы, я согласилась фигурировать во всем этом маскараде...

Чтобы не измять моего прозрачного платья, я сидела не делая никаких движений, быть неподвижной, избегать всяких порывов. Моя роль заключалась в том, чтобы принимать множество взглядов, что скрещивались на мне, ощущать их частое, быстрое, любопытное падение, как сквозь сито... Но, тем не менее, я признаюсь, что под моей белой фатой, под моим святым видом я предавалась им с некоторым тщеславием.

Я потратила много времени на раздевание. Эта одежда придерживалась тысячью тайных стежков, складочками, булавками. Мне стоило труда освободиться от нее.

Моя комната смущает меня. «Прими нас во владение», говорит мебель. «Действуй, приказывай, проявляй себя, ты принадлежишь себе, это твоя жизнь начинается: мы следим за тобой, что ты предпримешь»...

Чем больше возрастает их поощрение, тем более томности вселяется в меня, тем я меньше знаю, тем меньше двигаюсь. Я напрасно зову мысли извне, ни одна не имеет успеха. Я говорю себе, например, что это взаимное во питание, начинающееся единение, я как будто принимаю решение, но они опускаются при моем



приближении и скользят врассыпную вдоль занавесок. Нужно ли, в самом деле, бороться? Не лучше ли спрятать голову в руки и утонуть в мягкости и покое моего совершенноного кресла?

Когда мы только что вернулись, это он первый ощутил это подобие тревоги. Мы осматривали наш дом, и мы обошли его кругом, когда он взял меня в свои объятия, и я почувствовала в самом верху моей груди горячую плоть его поцелуя. Мне показалось, что удар поразили мои внутренности, я сжалась в комок, с напряженными мускулами, готовая к обороне, недобрый страх заставил меня похолодеть. Он поднял голову, я никогда не видела его столь трагичным, его черты окаменели, цвет его глаз почти расплавился... Я вырвалась от него, как растение, у которого срезали стебель.

Неожиданный рефлекс толкнул меня внезапно к зеркалу, как будто там на все давались ответы; и это весьма возможно, вечный ответ на загадку мира, который вам предлагает зеркало.

...Я говорила себе: «Ты будешь подле него, вы будете вдвоем, и будет, может быть, нечеловечески трудно пытаться быть счастливыми». Я воображала жизнь, как битву, как творение, как произведение искусства, я предвидела мои поступки: они снабжали добровольными действиями, они повелевали совершенствование, и я забыла, что они должны были быть совершенны этими руками, цвет коих тепел, и подмышками обладают этим щекочущим запахом.

Я думала: «Он постигает меня всю, я дала ему прощенье все». Но нет, он ничего не знает. Он не знает нежной формы моих грудей, высокой лиры моих бедер,

ни мясистого изгиба, что окружает мои ноги, ни этого неизведанного тела, чье выражение столь изменчиво, что оно подобно трепещущей сказке, которую приемлет свет и повествует громким голосом.

Мне остается сделать ему последнее признание: признание тела, что обнажает себя, которое смеет объявить себя. Разве это признание не самое чистое? Но оно не наступит ранее своего единственного часа, ибо оно должно привести в единое мгновение истину, столь обнаженную и такую внезапную, что она несколько пугает меня.

Странно: сегодня вечером я впервые живу всем моим телом полностью: я существую всюду, где есть оно. Даже оставаясь так, напряженной и вытянутой перед зеркалом, я следую той линии, которая может выгнуться, увеличиться и разделиться и которая уже содержит форму любви.

Я могу представить себе все... ибо нет надобности для того, чтобы быть возлюбленной, любить когда-нибудь: мне только стоит обвить его, если я посмею, вот этим ожерельем, только сжать его сильно, еще сильнее, и наступит мгновение, когда я забуду целомудрие моего одиночества...

И не зная ничего больше, нужно быть растерянной, рассеянной, согласной, уснувшей даже мыслью, прекрасной, более чем прекрасной.

...Я могу идти еще далее, ибо предчувствующее тело не может обмануться: когда они, мужчина и женщина, соединены, близкие, ожесточенные как два врага, то женщина, покорная, вооруженная своей слабостью, становится сильнейшей. Я уже убеждена в этом, я чувствую, как растет из глубины моего несведущего тела власть



Это не я, это рок, более древний, чем я сама, стремится осуществиться.

И внезапно мне становится страшно.

Но я безумна... мужчина, женщина, эти два слова только слова, это не живые существа. Чувства! Есть ли хоть одно из них, в котором я узнаю себя? Истина. Но это истина других, та, что приходит вам, всегда различна. Не безумно ли бояться того, что зависит от нас? Разве мы чужие, что я так медлю бежать к нему? Разве он не за этой дверью, он, о котором *думает* мое тело? И разве не достаточно взглянуть друг на друга? Есть ли хоть один вопрос, который он не может понять? Стремление быть счастливыми, все это так просто...

А! Пусть будем ошибаться каждый день и обманываться, страдать возле моего сердца и пытаться об'ять невидимое. Но в этот вечер, в этот вечер, только одна перегородка между мной и моей тайной, мне стоит только сделать несколько шагов... Я сделаю их... и его плечо наготове, нас только двое, моя рука пригвождена к двери, я ощущаю биение моего сердца, как будто оно обнажено, я живу...

И я могу быть неправой?..

## Б Ы Т Ь

Ее глаза особенно.

С тех пор, как эти глаза составляют часть моей жизни, я понимаю тоску, которую испытывают по Бретани, и бесконечную печаль, которую она вселяет в человека.

Она похожа на всех своих земляков, приземистых, круглых, коренастых, и ее движения созданы для того, чтобы лучше скрывать ее руки. Она поет, когда говорит, она вздыхает, когда молчит; она зовется Мари, как маленькая служанка за тридцать франков и которой всего восемнадцать лет... О, дело не в занимаемом ею месте: не будь ее взгляда, подобного синему углю, не будь этой короткой жалобы ее тела, она была бы почти неаметна.

Бьет семь часов, и я уже на улице, опустив голову, нечувствительная к зову лавок, влекомая слепой ходьбой, со щеками обожженными ветром.

Широкие ворота, лестница, одним духом, два удара звонка... долгие, задыхающиеся минуты; под их давлением дверь, наконец, открывается; Мари, спрятанная за нею, скрывается, поднимаясь на цыпочки, чтобы пропустить меня.



Почти святотатство говорить так громко, как я, внести столько уличного воздуха: «Обед готов, Мари? Все готово?» Я не дожидаясь ответа, ибо Мари никогда не отвечает, и я уже в кухне. Боже мой! Ничего не готово! Ну, я сама примусь за это. Мне остается, кажется, добрых полчаса.

Торопливо раздеваясь, я чувствую сжатие сердца, которое глухо овладевает человеком при виде беспорядка.

Вода уже кипит, и кухня принимает свой настоящий облик. Я не знала за собой такого проворства. В конце концов, она ребенок.

И вокруг меня движется Мари; я вижу движение ее красноватых и пористых лопаток, я слышу, как они сталкиваются с неживым стуком; ее существо умножается, толкает меня, безумствует, как безумствовала бы черепаха; она переламинается пополам, чтобы поднять с полу какую-нибудь кожуру... Правда, что места мало.

Я говорю с ней ребяческим тоном, как говорят детям: «Вы хорошо понимаете меня, Мари. И знаете, не бойтесь меня—я не злая». Мертвенная сосредоточенность ее лица быстро слабеет, все черты растягиваются: Мари возвращается издалека; она была погружена в монотонный сумрак неопределенного убежища, она приподнимает слегка небесную синеву своих глаз, не останавливая ее ни на чем, но я успеваю заметить, как упрямо шевелится ее проснувшаяся ненависть. Только одна молния. Ее опущенные рыжим веки дрожат, уже опустившись, существо пришло в порядок, в неопределенный порядок вещей, недостижимых и затерявшихся.

Я хорошо понимаю—она не может понимать меня. Я для нее принуждение, перемена, ссылка, то пресловутое «отсутствие привычек», которое выбивает из круга простых людей. И хотя она всегда была только презираема, заброшена, бита, я понимаю... я пробую быть ласковее, обращаться к ней улыбаясь, ибо, в конце-концов, явная доброта должна же быть видима... И было бы так хорошо смягчить эту натуру, объяснить ей все, начав сначала.

Мне вновь приходит на ум вчерашняя сцена. Мы были за столом. Она несла дымящуюся миску на вытянутых руках, стало быть, перед собою, и тяжесть ее походки грохотала, как ядро, по нашему упоению быть вдвоем. Едва она вернулась в кухню, как собака тащится в свою конуру, волоча спину, отмеченная тяжелой печатью своего чепчика, — грохот посуды. Я встаю: «...Разбила что-нибудь?»

— Нет, сударыня.

— Однако, Мари...

— Нет, сударыня, нет, сударыня...

Я была совсем близко; я погрузилась на этот раз в ее глаза, я ясно видела веснушки, затопившие ее белую кожу, и от нее исходила голубая невинность обиженного ребенка. Ее шея, натягиваемая языком колокола, заставляла дрожать голос.

— Нет же, нет же, нет же.

Бедная Мари. Угрызения совести овладевают мною: «Простите меня, Мари—мы ошиблись».

Тем не менее, я оставалась неподвижна, словно хотела, наконец, узнать, почему человеческое лицо может быть так исковерковано боязнью другого... Она тоже



была неподвижной, и если у нее была несколько странная поза,—я не замечала этого. Я хотела подойти к ней, я положила руку ей на плечо: «моя маленькая Мари...» Тогда она покачнулась, с умоляющим лицом, тяжело топчась на грохоте бьющегося фарфора...

Скрытые под колоколом ее юбки — ее бретонской юбки, расширяющиеся складки которой касаются земли — осколки моей хорошенькой серой китайской чашечки.

У нее был вид девушки, воспитанной у монахинь, и она прижалась к стене, прикрывая локтями плиту своего лба. Ее грудь, стянутая, как щиток пчелы, быстро колебалась, выжимая слезы, которые наверно текли под ней с большой быстротой.

Подбирая куски, я остановилась, чтобы нежно утешить ее:—«Это не ваша вина, Мари... полно... полно...

Мари склонилась подле меня, она трет стол для мытья посуды соломенной щеткой, вот так, вот так, все время по одному месту, вода брызжет на пол и брызжет мне на платье, и в ее движениях чудится что-то вечное и жалостливое.

Нечего говорить, что что бы я ни делала,—она нема, и чем больше мне хочется подойти к ней, тем сильнее она отбивается.

Но что мне за дело до Мари. Я заставляю себя вернуться к тому, что принадлежит мне. И скорей! он вернется; его веселость и радость будут искриться в наших голосах: день, содержание которого пересказывают друг другу, и наш дорогой союз, которому только две недели.

Мари тут. Ничто не может стереть ее. Возбуждение кипит, потом обращается против меня самой: это не жалость,—это нестерпимое чувство бессилья. Я сталки-

ваюсь всей моей тяжестью с этим выражением бретонской замкнутости, и всякий раз это причиняет боль.

Мари...

И я думала, что любить—это значит ощущать себя одинокой. Наоборот, это значит быть бесчисленной.

Нет, нет, любовь не чувство двоих. Нет, как только опомнишься, хочется любить всех и даже другие сердца, кроме того, которое любишь, овладеть всем, осветить все, и даже эту невежественную голову. Какой грех совершила я, что все мои подходы отвергаются? Она не улыбается, и в этом виновата я. Чего не хватает в моей любви, раз я должна иметь перед глазами осужденную тоску неудачи?.. Моя жалость к Мари и моя любовь к нему — все это составляет одно, потому что у меня только одно сердце. Его отталкивают, неужели оно не чисто?..

Мари подняла свое слабое скорчившееся существо, оставила свою щетку; ее льняные глаза уходят за пределы стен, и она вытирает о передник свои мокрые враждебные руки, как раз по ней.

Что делать? Верит же она во что-нибудь, непременно должно быть движение, которое ее затронуло бы, должно существовать слово, которое откроет могилу ее сердца.

Я остановилась на мгновение, я оставила работу...

Где же найти сокровеннейшие слова любви, последние слова—простые и трудные,—когда не знаешь еще слова, необходимого, чтобы заставить расцвести, совсем тихо, какую-нибудь бедную Мари?





Когда я состарюсь, я приду греться лучезарным и насыщенным видением первых дней моей любви. Я протяну иссохшие лозы моих рук, я выпрошу, как нищая, немного огня, немного сока и врываюсь семенящим сердцем и дребезжащим шагом к настоящему своему сегодня.

Бедная увядшая старуха—ты не помнишь... Тебе подадут, конечно, милостыню, образ об'ятия: ты видишь как мы обнимались, двое супругов, как я вздрагивала подле него, как его рот касался плодов моих щек и как мы смеялись бесподобным смехом. Ступай, довольно с тебя, возвращайся к своей зиме, на бесплодное поле старости, к твоим годам, сидящим, подобно птицам, на насесте, на острие над смертью.

Быть может, я первая буду скрывать от тебя истину...

Сегодняшняя истина не имеет сияния, не имеет ореола. Моя радость новобрачной совсем не то, что я воображала.

Теперь доминирующий мотив моей жизни, ее преобладающее занятие, совсем не изобретение новых любовных слов, это ведение борьбы за существование, которое покупается на медные деньги, и с таким трудом.

Мы бедны. Каждый зарабатывает свой хлеб. Мы порешили, что деньги, необходимые для общего существования, будут отдаваться мне на руки. Надо изобретать, это моя обязанность, обеды, чтобы они были сытны, приятны на глаз, благоразумны, превосходны на вкус; надо одухотворить дом, украсить его, надо сделать его приятным, удобным, придать ему отпечаток изобилия, надо сберечь время и проявлять над вещами непрекра-

щающуюся тиранию, надо не пренебрегать ничем, в рабском служении порядку, в бдительном служении здоровью, надо, наконец, добиться всех этих вещей, которые составляют все, и добиться их так, чтобы добытые и побежденные они стали легки для нас.

Если б только у меня было немного денег, чтобы вытупить в поход, это было бы легко, но сумма, которой я располагаю, могла бы уравновесить максимум бюджет куклы; она укладывается в горсточку; она неизреченно мала...

И, кроме того, у меня, у молодой девушки, не было ни этого изобретательного сердца, ни этого воображения, что скачет так далеко, ни этого умения, которое иной раз сжимает свои кулаки с темным вызовом в глазах.

Любовь? Почему никогда не предвидят, что будут цифры, денежные заботы, такие важные, такие цепкие, и они-то прежде всего? Почему не знают, что это входит прежде любви и прежде всего иного в повседневную жизнь?

Это обязанность вставать на час раньше привычного времени, чтобы самой пойти на рынок, обязанность выучиться шить, ибо новое платье есть радость понравиться ему, любовное желание, но в то же время оно сумма.

Но это также и огромное торжество, я не знала этого, чувствовать его довольным и радостным, когда он возвращается домой, в наш дом; но это также и радость видеть его удивление, когда за десертом я приношу с великой гордостью плоды в цвету: смотри; это скромная гордость иметь возможность купить на свои гроши великолепный букет, венчающий его комнату.



Девушкой я шла к любви, я предчувствовала огненные слова, взгляды, исполненные надежды, и два ликующих существования... я говорила себе: любовь!..

И вот, сквозь смиренную случайность и простую обязанность, я нашла уверенность.

\* \* \*

Мы спали рядом, смешивая наши дыхания, и не было ничего более сладкого, чем эта близость моей дремоты и его тела.

Погасив лампу, он вытягивался подле меня, я отодвигалась, забиваясь как можно дальше, потому что я боялась даже в надежной темноте показать мои голые руки и мою скрытую грудь. Сперва я трепетала, но едва он касался моего дыхания, я быстро устраивалась в его объятиях, и мы оставались так, молчаливые, залитые нежностью и тьмою.

Это было живое впечатление отдыха.

Под гнетущей жарой, под этими несущими меня узами рождалось оцепенение, ибо дни утомительны. И в то время, как он медленно поднимался на локте, чтобы баюкать меня своими темными глазами, разрывая против моей воли благотворное объятие, я засыпала как ребенок.

Но вчера вечером, хотя была уже полночь, сон медлил приходить. Он поцеловал мои губы, поцеловал мою грудь; но вот посторонняя воля разрешила в во мне; я разорвала, чтобы связать их опять, наши переплетенные члены... чему я повиновалась? Мне казалось, что мне было страшно, да, действительно, я боялась его. Он тоже

сжимал меня слишком сильно... Сначала голова моя уклонялась ради шутки, но я ощущала его прерывистое дыхание, преследующее меня, его руки сжимали словно обручами мое тело, его ногти впивались в него, а каменный торс давил как жернов.

Нет... Мне было страшно .. довольно... Чем больше я ускользала, тем больше он разъярялся... Разве он хочет растерзать меня?

Волна ужаса вынесла меня на свежий воздух, и, освобожденная, стыдящаяся самой себя, я, казалось, встала под защиту бешеного отвращения, от которого хмурились мои брови. Ах! Я его ненавидела... Но лицо его вновь задушило мое лицо, и рот его раздавил мой рот: он был сильнее, и я закрыла глаза...

... Когда иступление его порыва заставило кричать молчание, в то же время произошел жестокий разрыв. Я бы не хотела испытывать этого прикосновения, возмущающего, глубокого, но я оставалась, раскинув руки, брошенная на кровать, как мертвое животное.

Двойное тело, которое мы с ним составляли, уже разделилось на двое, он, изнуренный, чуждый, и я, в болевшем забытии столь странного чувства.

Мгновения казались мне очень долгими, пока он не притянул меня к себе, чтобы нежно поцеловать, как в другие вечера.

Я положила голову в углубление его плеча, я вновь заняла мое вдавленное, нагретое место, но нежность была замурована во мне, и мускулы мои сжимались. Казалось, ему не хотелось более разгваривать, он был неблагодарен как мертвец. Бледный луч осветил его..



И в эту ночь, моими расширенными любопытными глазами я видела, как он заснул...

\* \* \*

Особенно была одна секунда...

Секунда, когда слияние наших тел вызвало как бы искру. Я была уничтожена, и в то же время прижата к нему, и опять-таки в то же время оторвана, подобно морским отбросам, что широко катит прибой, которые составляют часть его и которые он с гневом выбрасывает на чуждую землю.

Если бы я имела время думать, я подумала бы, что вот эта секунда стоила всей жизни, всей смерти и даже больше, чем жизни.

И издали, в успокоении:

Так, значит, это и есть сладострастие, *только это?*

\* \* \*

Ночи тянутся одна за другой.

Раньше жизнь состояла из дня и ночи: белое, черное, черное, белое.

«С тех пор» жизнь проходит одним порывом, и я бы втайне хотела, чтобы она была непрерывной ночью навсегда.

\* \* \*

Я заметила сегодня утром — зеркала магазинов бросали мне мое изображение, — что вокруг меня была словно необыкновенная сила. Это совсем новая и необъяснимая

уверенность, более определенная постановка. Покупая припасы, я осмелилась торговаться, и все женщины на рынке обращались со мной, как с равной.

В моем решительном и твердом тоне Мари открыла бледный океан своих глаз, и, кажется, между ей и мною образовалось расстояние.

\* \* \*

Нас замечают, на нас почти показывают пальцами; говорят с завистью о нашем великом счастье, словно об опасном путешествии, которое можно совершить только однажды...

«Вы молодые супруги, вы счастье, вы счастливые»...

Что это значит? Разве люди думают в самом деле, что становись счастливым так скоро и так легко, что достаточно быть отпущенными вдвоем в тернистую жизнь, чтобы обрести там целостность?

Счастливые!.. Когда все служит для того, чтобы разлучить вас, противоположная природа мужчины и женщины, их противоположные интересы и даже влечение их тела. Счастливые!.. Когда известно, что два существа, как бы они ни были близки, разделены всегда и всем навеки, когда во имя брака надо, как бы ты ни был свободен, отказываться и отрекаться от себя, когда вне брака имеется свой личный жребий и когда, наконец, по окончании дня, ночные поцелуи, словно, чтобы разрушить единение, волнуют плоть, — вот тело, вот кровь, вот любовные поцелуи — и из друзей, которыми были, становятся любовниками.

Конечно, порой бывают поистине ослепительные минуты, и сладко бывает опереться на плечо и иметь



свидетеля, и сладко также видеть мужчину, что улыбается и берет вас в свои объятия.

Но быть счастливыми! Но чувствовать себя переполненными, в согласии с самим собой и другими... Мужчина и женщина прежде всего два врага, и это чувствуется каждое мгновение. И говоришь себе, что существует тем не менее в глубине неувидимого небосвода величественное согласие и что *надо* его достигнуть, если даже дорога сверхчеловеческая, если даже силы ваши покидают вас. И если когда-нибудь достигнешь этого согласия и этой дороги—начинать их каждый день сначала, ибо существо каждый день меняется.

Я уже несколько сильнее, несколько проще, несколько умиротвореннее, но мы не «счастливы» еще.

\* \* \*

И это правда: она была искренней.

Разговаривая, она отбросила далеко от себя свой огромный мех, ее пальцы сжимались на перстнях, в бессознательном желании снять их, ее шея, окруженная жемчугами, высоко возносила беспокойную голову; не будь этой мишуры наряда, хотелось бы протянуть ей руку...

Проглатываемый большими глотками вагонного окна пейзаж мрачно притягивал ее к себе, ибо он двигался почти столь же быстро, как и ее мука. Видно было, как постепенно сжимались ее плечи, втягивали в себя прекрасную колонну тела, поддерживающую голову, и бесильно поднимались, чтобы выразить вечный вопрос: Что делать? Как у всех страдальцев, у нас было это

тяжелое движение; словно человек отбрасывает от себя ранец с несчастьями, привязанный за его спиной.

Ее рассказ взрывался, поднимался пузырьками такими плотными, что голос иной раз обрывал на них свою струну. Рядом другая женщина пребывала весьма спокойной, замурованная в глухое безразличие, приходящее с союка годами. Грохот поезда заставлял ее только встряхивать головой—слушала ли она?—повернувшись в темноте к быстрому стеклу, где проходила и ее собственная повесть.

Вечер был недалеко; все предвещало, что он не замедлит. У меня, таким образом, был предлог дремать, и едва я закрывала глаза, молодая женщина возобновляла свои сетования, два раза, три раза, десять раз, всю свою печаль, исходящую из ее искаженного лица.

«И послушайте, на-двях»...

Но разве мне было нужно то, что она собиралась сказать? Я знала...

На склоне одной фразы, я услышала: «малютки, девочки». Я видела их, ее девочек, совсем одинаковых, обеих в платьях в складку, две головки, удлиненные длинными упругими локонами на английский лад, благо-разумный вид, родственная походка; детей, которые всего лишь отпрыски своих родителей и при виде которых говорят: «На кого они похожи?» словно нужно искать, откуда вообще появляется ребенок.

Муж—не у всех ли у них одинаковые выражения для того, чтобы произнести: «Мой муж?»—я вижу его: тоже короткий, подвижной, веселый и, право, не дурной... Сколько я ни старалась, сколько ни искала, только лицо краснощекого мужчины могло проистекать из этого



бесцветного лица молодой женщины. Я даже представила себе, хотя она не говорила о нем, строгий сад с прямолинейными аллеями, который цвел застенчиво, как все сады, которые не любимы любовью.

Мне осталось только сгруппировать весь этот мир вокруг белого ядра дома — прочная постройка с украшенным фронтоном. Я бегло, тайком поднимаю глаза. Я, значит, плохо разглядела ее, когда она вшла час назад? Теперь она была красива, равномерное соотношение установилось между ее чертами, цвет лица прояснился, рот вздрагивал, обнаруживая свою мягкость, и безнадежная рука, откидывая волосы, открывала многоговорящий лоб, гладкий и совершенный, как слоновая кость. Некоторые женщины заимствуют свою целостную красоту от пафоса. Эта была из таких.

Утомленные пейзажем глаза ее повернулись, и я спрятала мои глаза под веками.

«Он больше не понимает меня... Все кончено... я ничего больше для него не представляю, и всетаки... брак по любви»...

Лоскутки ее жалобы улетали разрозненные по ветру, и, когда пыхтение машины усилилось, последние клочки утонули вместе со мною в грозном и далеком грохоте укачивания.

Я скоро проснулась. Жалобы производили все тот же шум прибоя, отбрасывая, казалось, ту же фразу на том же месте, столь упрямые, горькие, что нужно было, наконец, очистить от них сердце. Я, впрочем, могла это сделать; две женщины глядели друг на друга, молодая далеко от другой, далеко от нас, далеко от всех, вкоренившаяся в свою жизнь, в свой четырехугольный сад,

со своими тридцатью годами вокруг себя, словно она впервые говорила громко.

Я слушала. Каждая подробность вручала мне какой-нибудь год, уголок дома, крупное событие; но вместо того, чтобы испытывать чувство смущения и угрызения за похищенную интимность, я чувствовала брожение глухого гнева.

Почему? Может быть, это было от невозможности проникнуть и постигнуть мне, посторонней, тайну этой болезни, и как с лекарством?

А! Мне не нужно больше ни слушать, ни знать мужа, чтобы признать его правоту. Он прав, когда он, уединяясь в свои деловые заботы, стал только хорошим отцом, прав, когда видит в своей жене лишь мать своих детей, он прав, когда пожимает плечами в ответ на вздохи, от которых вздувается она.

Вечер смягчился сверху стекла, мы везжали в долину, где зелень лугов распространялась на лиловом. Два ряда деревьев, которые были видны очень далеко, в профиль, внезапно стали черным занавесом, который задернули; там и тут ощупью воздвигались дома, лица, исчезающие, едва они успели возникнуть; одно поле поглощало другое; линия, окаймленная изгородью, пускалась бежать, откос приближался, потом сторонился, замаранный по своему склону коричневыми нездоровыми пятнами, украшенный на вершине косматой травой и отдельными кустарниками, подающими сигналы.

Молодая женщина нахмурила брови и вопрошала безумное и глубокое пространство. Я читала на ее лбу вопросы: «Почему он только касается слегка ее лба, когда возвращается вечером, почему он держит ее словно



вне всего, никогда не насыщая себя хлебом ее присутствия и никогда не ожидая ни одного ее совета; как же он любит ее?» Она хорошо выразила это сейчас своими огорченными губами: «Немного меньше, чем проститутку, и немного больше, чем служанку».

Совершенно ясно, что эта женщина страдает и что она призывает некоего бога, который не может ответить ей. Вечером, когда ревнивый и тяжелый дом засыпает, она становится тайком на колени и ломает свои бесполезные руки; ей случается даже призывать некоторые имена; боль, любовь, печаль, как будто священные слова существуют для всех. Ты хорошо видишь, однако, Ты, Бог, которому она молится, причину ее горя,—это очень простая причина, грубая, элементарная. Почему Ты заставляешь ее искать других?

Я откинулась назад, так как одновременно хотела и боялась, что мое лицо выдаст меня.

Юг начинается. Первые оливковые деревья уже круглили землю, и вечернее небо уже смеялось в розовом свете.

Во времена, в которые мы живем, ни одна женщина не имеет права жить под защитой труда мужчины. Та, которая дерзает делать это, пусть внесет выкуп и пусть отречется, пусть передаст свое достоинство в плодородные руки, пусть согласится на бесправие, на снисходительную любовь, что дают в пищу слабейшим. Пусть не жалуется.

Мужчина начинает—женщины это хорошо знают—с обожания этих слабостей: «Моя жена», эта хрупкость, эти бесполезные дни, эти маленькие ручки, ничего не умеющие делать, приносимые им драгоценности, эти

большие удивленные глаза, эти мелкие шажки, все, что умирительно, что противоречит его жизненной борьбе. Потом он начинает гордиться: «Это я ее защищаю, ее поддерживаю, ее кормлю. Это я...» Он поднимается тогда на несколько ступеней—гордость возносит вас—и он видит ее несколько ниже, неспособной, ребячливой, чуждой борьбе, чуждой его силе, и ничто не может помешать, чтобы с каждым днем они все более расходились, чтобы, подходя к нему, она не поднималась, чтобы он, снисходя к ней, не имел жестов спускающегося вниз. Если его любовь устоит, без ведома их обоих, она будет иметь точный облик презрения. И это справедливо, и это хорошо.

Этой женщине нечего говорить. Если она не зарабатывает на жизнь, пусть у нее будет дело, обязанность, но пусть она употребляет эти руки, это праздное сердце, это крепкое здоровье: недостаточно рожать на свет детей.

Толстая дама подскочила в недрах своей крепости: «Мы под'езжаем... Нужно приготовиться...»

Чемоданы, святы на вытянутой руке, источают дикий запах кожи, закрываясь, заставляют сверкать никелевые молнии. Тяжелая мантия пальто. Меха. Потом огни колец погасли в свой черед под перчатками. «Приехали». Они теперь имеют полную свободу разглядеть меня.

Какое превращение. Она опять приняла то выражение лица, которое у нее было недавно, когда она входила в вагон, и которое почти некрасиво; при свете ночника оно казалось острым, покрытым могильной бледностью, словно щедрое солнце навсегда отвергло его.



С каждым оборотом колеса, маленький городок приближается; в то же время молодая женщина выпрямляется, вновь приобретает значительность, уже заключенная опять в свою рамку, уже менее несчастная, когда она ближе к своему несчастью. Она вынула часы. Им осталось еще пять минут. Вот—покорное стадо—ее грусть, прибежавшая вместе с белеющей дорогой, но грусть временная, как раз настолько, чтобы успеть немного облокотиться...

Я приставила руку козырьком ко лбу. Пусть она не ищет в моих глазах источника милосердия, в котором ей отказано. Его нет во мне, нет ни в бледных полях, ни под густым саффиром неба. Чтобы его найти, ей нужно было бы начать снова свою жизнь с начала до конца, нужно было бы все покинуть. Такой жребий вне человеческих жребиев, это страдание пребывает рядом с человеческим страданием; я говорю, что оно причиняет еще недостаточно боли и что эта женщина не заслуживает права на жизнь.

Та, что ничего не делает, уже предает любовь.

Мы снова тронулись к нашему отдыху, к деревне, которую я ожидаю; я жажду свежести.

Теперь вагон пуст. Чувствуется двойное биение плывущего поезда, забившегося среди двух склонов, выплывающего кольца пара, преследуемого, можно сказать, собственной скоростью, что уходит, уходит, уходит...

\* \* \*

Уже восемь дней, как мы тут.

Но это странные дни, без оси, без подпорки, проходящие словно вне чего-то; скажешь, призыв на пороге...

так природа не даёт прикоснуться к себе и проникнуть в себя.

Мы захотели жить в этой деревне; мы думали о ней издали, как об оазисе среди росы. Вот она у нас под ногами, с ее хорошо пахнувшей землей, ее ветер румянит нам щеки, единый наш взгляд зажигает солнце, мы дышим там вверху, в куполе неба. Несмотря на наше обычное рвение, она хранит свою тайну: это мать неблагодарная и глухая к своим детям. Когда мы приближаемся, ее слова уходят, исчезают под покрывалом, или закрываются. «Вы хотели бы коснуться моих движений, сорвать по былинке тонкий запах травы, думать, как это дерево, следовать по стопам крестьян, которые одни мне родня, быть только одним потоком, как пространство, развязать соотношения вещей и облечься в шлем моего пыла, таково желание всех людей; да падет оно на вас. Не пытайтесь, не оборачивайте головы, обменивайтесь между собой трепетом ваших лихорадок, я не знаю вас.

Здесь, чтобы чувствовать себя в единомыслии, нужно более, разумеется, одинокое сердце, более восприимчивое тело, более умиротворенный лоб. Мы посторонние.

Только вечером сливаешься с вещами и согласуешься во всем; ночь—ты видишь—ожидает за горизонтом, и мы уходим ей навстречу.

Мы беремся за руки, я чувствую, как ширится моя радость; он улыбается, когда я начинаю заботиться, чтобы ему не было холодно, и вот мы сплели локти, идя высоко и звонко, как два приятеля, которые некогда были школьниками.



Она далеко позади нас, маленькая, присевшая на корточки деревушка; поворот дороги проглотил целиком последнюю избушку и рассеял рой ее домов. Перед нами пейзаж, еще полосатый, что мягко уходит, немного бледнеет, выравнивает свои плоскости и вдруг теряет напряженность, как лицо, с которого соскользнул смех.

Молчание... сумерки нисходят и в нас, и, чтобы принять их, мы предстоим пред окружающим мраком с поднятой грудью и трепещущими ноздрями.

Напротив на холме зажглась желтая точка, — другая, другая — исполняя неведомую обязанность; ночь ждала их, чтобы разразиться. Но вот она присоединяется к нам, здесь, совсем поблизости, в полях, она уже затопила беззащитные оливы, у них не было ничего для защиты, кроме их столетних стволов, не было прочного объема, только одни очертания, они жили только трепещущим и серебристым ветром, и когда пришла тьма, тщедушная, шепчущая, достаточно было одного дуновения, чтобы усыпить их лбы в серых завитках.

С каждой стороны дороги, возвышаясь по ее краям, деревья, которые простирают в воздухе человеческие жесты, словно для того, чтобы предупредить, что начинается драма, и мы инстинктивно идем скорее, ближе друг к другу, бок о бок, в то время, как славная живая кровь перебегает в нас, притягивает легкий жар, который быстро проходит и который мы разделяем.

И теперь поднимаются шумы, шумы, которые свойственны только ночи и составляют часть ее отдыха, это печальный лай, который верное эхо отбрасывает за холмом, влажное кваканье лягушек покрывает ржавчиной

воздушную глубину, от времени до времени человеческий крик, прямой и резкий, как призыв; и потом, опустошающий землю металлический аккомпанемент, что напечтывают кузнечики. Эти шумы не далеко, но скрывающая их тьма принимает и отодвигает их, придает им значение и каждому свою истинную форму.

Как привольно чувствуешь себя, как переполнен кротостью и как бываешь искренен! Есть грехи в теле, преступления, сваленные в мозг, темный дух в сердце, и все может проявиться и развернуться, ночью можно понять все. Ведь это не тесный день, где цвета и выпуклости выдуманы для того, чтобы отвлекать людей от их внутренней правды: можно осмелиться на самые безумные мысли, раствориться до своего крайнего предела, позабыть свое собственное существование и отрицать прошедшее движение—ибо все были недостаточны—и хочется сохранить из них только одно: то, которое хотелось бы сделать здесь, раскинуть об'ятия, вот так, на ходу, обе руки непорочны и отверзты, как две пустые чаши.

Теперь все черно. Не различаешь более молчания от пространства, страха от прикосновений; все предметы склеились вместе, дерево с деревом, их масса с массой холма, холм, лишенный очертаний, с небом, опустившимся на землю: все смешано, все уничтожено, и даже самые кипарисы, они, которые повсюду в изгнании, они, которые днем словно удар копы в лазурь, в свой черед присоединились к ночи.

Перед глазами, утомленными до слепоты, дорога добродушно простирает свою туманную бледность: вне ее нет ни одной черты, чтобы задержать внутренний порыв,



никакой перспективы, ничего определенного, кроме наших очертаний.

Мы никогда не проникали оба разом в такое уединение, никогда мы не были так наги друг перед другом; это заставляет нас идти грузным и торжественным шагом, словно мы проходим перед взорами Бога.

Идея нашей четы: Мы. Мы двое.

Нужно, чтобы мысль укоренилась в сердце человека для того, чтобы держать его стоя? Если бы я не чувствовала биения моей любви, принуждающей меня жить ночь, потеряв всякую причину уважать мою тень, распростерла бы меня, я думаю, по воле откоса под сияющим покоем.

Но я защищена. Каждый поток свежего воздуха дает мысли, которая у меня в груди, новый трепет, молодую силу, и я слышу, как она поднимается так быстро, что нужно было бы бежать, чтобы следовать за ней. Чтобы сохранить ее и чтобы она покровительствовала мне, я собираю и повторяю вокруг нее самые лучшие воспоминания... Наши перемешавшиеся ночи, наши поцелуи, бури, что быют утес наших тел? Нет, это не самые лучшие воспоминания.

Тогда, поднимая глаза, я обретаю там, где был бы горизонт, если бы он существовал еще, ту благословенную нежность, что исходит из его присутствия, то великое чувство, сжимающее мое сердце, когда я присутствую при его жизни, похожее на уважение, и на веру, и на жалость, сама не знаю. Оно зовет к действию и даже к смелости, и оно строит вокруг меня словно тройную ограду, за которой я в безопасности.

Это не в поминание. Перенесенное на современную землю—это немного будущего, и обретаешь только буду-

щее, когда углубляешься в бесконечность. Одним порывом поднимаешься на вершину любви. Любовь — это будущее, намагниченное сердцем.

Он здесь. И в то время, как он господствует над рассыпавшейся местностью, обломки разрываются у его ног. Я иду рядом с ним, в этом все, я не прошу иного. Может быть, мне спуститься несколько ниже, чтобы мои шаги не шумели, чтобы мои плечи занимали меньше места, но какое же иное желание?

... Да, у меня есть другое желание: любя его каждым моим дыханием, я хотела бы любить его еще больше. Любовь не достигается один раз навсегда; сердце может наполняться, не насыщаясь. Сколько времени нужно идти? Я могу идти, идти, не останавливаясь, и миновать источник ночи; моя молодость неиссякаема, мои ноги не устают. Я хотела бы любить его еще больше.

Дыхание пространства ширится и умножается, пронизанное движениями воздуха, тьмой, запахами. Этот запах обсахаривает губы: должно быть, в эту изгородь воткнуты цветы. И потом оно внезапно становится безумным: черный ветер падает, подобно обвалу, с вершин деревьев и дождем сыплет в ночное пространство скрежет ветвей.

Значит, нужно остановиться в самый широкий миг, тот, где дорога кажется сверхъестественным путем, обладающим собственной толщиной, и кажется будто она подвешена... Мне хотелось бы идти еще, никогда не уходишь достаточно далеко. Разве, в самом деле, необходимо возвращение домой, к неподвижной лампе и болтливым поцелуям?



Только не сейчас. Сохраним это большое темное мгновение. Побудем еще немного здесь, где само время могло бы остановиться. Деревья склонились ниже, чем обыкновенно, и в этой мирной деревне мрак может играть со всех четырех сторон.

В сущности, только нужда заставляет вас остановиться. Я возвращаюсь из мрака, и я не приношу из него ничего, кроме горла, что душит меня, кроме тела, что огибается кругом, как щит черпахи, вокруг моего сердца, и кроме ослепленных взглядов.

Если я выхожу из себя самой, всюду вдали я вижу отчаяние, распростертое над миром; заснувшая пустыня...

Он совсем рядом, но так как он живет, он ничего не может сделать для меня. Я ничего не могу сделать для него. Я думала, что, любя его, я переполнила его. Любви недостаточно. Я видела сегодня вечером его жизнь, исходящую из земли, отличную от любви, *вне* моей жизни. Я видела его жизнь, открытую всем ветрам и отделенную от всего, внимающую себе и удовлетворяющую себя. И я вижу, что это справедливо.

Это целостная жизнь, единственная и значительная; не только образ воодушевляет меня, не только голос, который я возбуждаю, лицо, которое я ласкаю; это непроницаемая сила, живая, запретная и свободная, которую мое сердце не знает, потому что любит. Я была права, желая ступать сейчас, ибо я не должна была рассчитывать: сверх моего присутствия, компактного и ограниченного, у него есть вся бесконечность для того, чтобы дышать.

Где же вечера, которые научат меня? Я не знаю о нем ничего, кроме моей любви, но одним своим суще-

ствованием он опровергает то, что я о нем знаю. Кто скажет мне, до каких пор я должна идти и чего я должна достигнуть? Я спала совсем нагая в его объятиях, я жила около всех его забот, я сливала мое тело с его телом и я предавалась бесподобной радости. Я отдала только себя. А нужно больше.

... И великая уверенность становится отвесно и горит, словно свет явился из глубины лугов.

Я только женщина, я умею думать только скачками, я умею любить, подобно тому, как плачут, но приходит день, вечер которого есть вот этот вечер и к глубокой истине которого прикасаешься лбом. Чувствуешь, как движется доброе желание сердца, и странно понимаешь, что совершенное единение мужчины и женщины еще никогда не было естественной вещью и что еще недостаточно любить, чтобы быть счастливыми вместе.

Пойдем. Мы можем возвратиться. Прижми меня к себе, хочешь, еще сильнее. Не будем говорить.

Я знаю, почему я счастлива; твоя рука, наша всемогущая жизнь, наш прочный шаг. Я не знаю, почему легкий сумрак как будто раздвинулся. Жить, двигаться вперед, рассекать узкий остаток дороги с его светлыми глазами, заменившими звезды, идти вдвоем, будучи одной на земле, следовать за ночью, которую не видишь...

... И потом, Господи, поднимаясь к небу, постигать с любовью то, что выше любви.

\* \*  
\* \*

Если я не решаюсь выходить, это потому, что я отяжелела. У меня впечатление, что все взгляды ложатся



на мой живот. В этом нельзя ошибиться: проходящие девочки в самом деле отмечают меня быстрым взглядом, тайным и кислым, ибо они более простодушно хитры, чем настоящие женщины, и их настойчивость меня стесняет.

Два долгих месяца ожидать первого крика моего ребенка! Если бы я носила только его одного, но нет; я чувствую так же, как зреет пленная любовь и бьется о прутья своей клетки, и теряет терпение до того, что я больше не могу ничего найти, что может ее развлечь.

Маленькое приданое готово полностью: пеленки, теплые на ощупь, кукольные сорочки, маленькие чепчики, которые, кажется, никогда не употребляются. Наряд марионеток, белье нежное, как корпия, нагрудники круглые и пышные, как кокарды. Я разложила все перед собою, и каждая вещь, надетая на мой кулак, неопределенно принимает жизненность.

... Два месяца, прежде чем я узнаю наверное, буду ли я подобно другим матерям насадкой со сложенными крыльями и сердцем, обращенным внутрь, пылкой к своему и сварливой к чужим детенышам. Два месяца, прежде чем найду разгадку этой дикой любви, которая, говорят, вырастает внезапно.

Меня поучают пока. Другие женщины чествуют меня; все как будто толпятся, чтобы уступить мне место. Подлинное братство? Неуловимая радость видеть соперницу на мгновение униженную и уже лишенную обладания? Вслед за ними я вступаю в запретную тайну: «Ну, что вы чувствуете?.. Я...» Я служу мишенью для воспоминаний.

С присущим им бесстыдством, каждая желает перещеголять других, и подробности так изобильны, что я вижу только, что рассказ повторяется сотню раз. Наименее болтливы те из матерей, у которых «их было много»; у них не осталось ничего, кроме одного огромного и повторного воспоминания, где жизнь их смешивается с жизнью, которую они столько раз носили в своем чреве.

Которой из них верить? Многие встречались со мной и многие разговаривали; ни одна не открыла мне тайну быть матерью, ни одна не поведала мне слова, которое послужило бы мне откровением, открытого и замкнутого жеста, который заставил бы сверкать издалека ожидающее меня сокровище, который принудил бы меня *понять*. Я слышала в их устах стонущее горе родов, горе рождения. Я видела их восхваляющих с гордостью и почтением, которое надлежит по отношению к фетишам, заботы, проявленные к их детям, но их материнство и кончается на этом. Я не знала. Я все еще не знаю. Все же нужно ожидать два месяца.

Я погрузила пальцы в молочный ворох маленьких одежд.

«Ты видишь голову твоего ребенка в этом чепчике. Ну-ка попробуй себе представить?..»

Не отвечая, он улыбается, утонув в своем кресле, столь просветленный и готовый к своему будущему отцовству, что я чувствую себя за сотню миль от него. Ему известно, по крайней мере, почему он будет любить его, ему известно, почему он ему уже дорог.

Я затемнена отчаянными видениями, что мне приносят другие женщины; быть может, также и той



наследственной тяжестью, которую налагает нисходящая линия моих матерей. Почему я буду иной; какое свойство сделает меня лучшей?

Животная тяжесть уже проявляет во мне свои права. Мое тело только тяжелая оболочка, усиленная сном, заливаемая густой кровью, клетки которой предаются своему счастливому и онемелому благополучию. Само сердце мое поражено оцепенением.

... Растянуться на кровати, раздавленная своими каменными грудями, не двигаться, не думать, только чувствовать в промежуточные минуты легкое движение, что проявляет свою ласку, легко поворачивается вокруг своей оси и складывает крылья.

\* \* \*

Я едва смею подняться ей навстречу. Она знала меня в моей летней стройности, когда пылающие дороги становились под моими стопами опасными козыми тропинками, и она уверяет, что по моей стремительной быстроте она увидела стремительность нашей любви.

Мы жили в одной и той же гостинице. Я была поражена в первый же день цветущей молодостью этой женщины, которая избегала с такой ловкостью тяжести сорока лет и которую повсюду сопровождал любовник с победительным взглядом, с бычачьим лбом и короткой шеей. Быть может, вблизи можно было подозревать о тонких каракулях морщин на ее прозрачной коже; что за беда. Она сияла, как никогда мы, молодые женщины, не сумели бы сиять.

... Черное на белом, голова, перегруженная тайнами и мраком, две драгоценности,—нет, две реки зеленой

воды, вместо глаз, рот, являющий лучше, чем другие рты, форму поцелуя, стан не слишком высокий, но породистый и стройно вылепленный, окружающий ее существо величиим. Платья, изобретенные, чтобы обнаруживать мягкую гибкость талии, игру ног и точеные груди Жесты, зажигающие какие-то молнии. В конце концов, женщина во всем, что в ней есть ядовитого и детского.

Случай поместил ее как раз против меня, и она источала столько прелести и столько обаяния своей тонкой улыбкой, своим пылающим лицом, своей веретенообразной подвижностью, что простой обед показался мне пиршеством.

Потом, это было утром; я ушла без цели и одна, когда она поровнялась со мной, гибкая, благосклонная, как будто между женщинами и впрямь существовало братство. Ее красота имела глубокий материнский голос, и словами, в которых звучал хрусталь, она сейчас же выразила захватывающую похвалу чете, которую мы составляли. Она заметила нас; ах, как мы должны быть сплочены!.. Женаты? Ба!..

И ее кровавый рот скривился в гримаску... но у нас была такая мажера брать под руку, глядеть друг на друга, ожидать...

Она говорила, говорила, и, по правде сказать, я была несколько сбита с толку... разве это были действительно мы, которых она так описывала: темные от страсти, жадно вкушающие единение, чреватое грозой, неистовые даже в спокойствии; не о своей ли любви рассказывала она скорее? Я не знала, что отвечать; тем не менее, я не могла узнать нас в этом; тогда она остановилась и,



удевившись за меня, об'явила, что я маленькая дикарка, и что ей это нравится.

Мы пришли к спуску, туда, где местность бросается отвесным скачком в землю, так глубоко, что ей необходимо, чтобы показаться небу, сейчас же уцепиться за бронзовые стволы полуголых пробковых дубов. Мы шли, рассекая ветер. Я сдвинула брови; все, что она говорила, дышало для меня иным временем, иной сферой, тут все говорило о любви, все предавалось ей, и из-за этого между мною и ей возникало расстояние. Именно в том, что придавало ей столько жизненности, я видела ее ограниченность и ее распинающую себя участь. Она была—любовный инстинкт, ограниченный потребностью в мужчине. Тем не менее, она меня притягивала.

Мы узнали друг друга ближе. Она удивляла меня все более и более. Тогда ли, когда она со своим любовником вела на скамье одну из тех бесед, прерываемых шквалами, в которых обмениваются словами, прижав уста к устам, тогда ли, когда ее видели скитающейся, словно в диком забытьи, среди тощих тропинок, истерванных кустарником, тогда ли, когда она приходила ко мне с сияющими движениями, чтобы кинуть к моим ногам свой терновый венец—всегда она была женщиной, которую воспевали мужчины, той, которую они желали. Она была древняя носительница роковой силы, существо, которое подчиняется противнику или подчиняет его себе и ничего больше не знает; бедное создание из очарования и слез...

Она никогда не говорила ни о своей жизни, ни о себе: мы были обе женщинами, значит, участь наша

была одинакова, она любила, и я любила, чего же более?

— До свидания, до скорого!—крикнула она в миг нашего отъезда, когда тележка ринулась, скрипя, по дороге, вьющейся винтом. Она оставалась стоять, небрежно склонив голову, и ее развевающийся шарф простирал вокруг нее прощание... Дорога сделала поворот. Я думала—я никогда более не увижу ее.

Но сейчас, когда я шла прилечь, властный звук звонка прервал молчание: это была она, ее улыбка, ее шарф, ее платье, опутанное серебром.

— Какое славное гнездышко! Как должно быть хорошо в нем? Итак? Итак? Все попрежнему счастливы?

Но вот она с несколько диким смехом замечает, что я ожидаю ребенка: «Что за мысль!» Бросает в воздух перчатки, садится, потом встает, и я ясно чувствую по ее лихорадочности, что мой выложенный ватой дом и мой слишком безмятежный вид обманывают ее ожидания. Ей, конечно, не хотелось найти горе или какую-нибудь определенную неудачу, но я все-таки как будто перешла во враждебный стан.

Она пришла, так как у нее горе. Я пытаюсь принять ее как можно лучше; удержать ее руки, которые она положила в мои, следить на ее лице нимфы разрушение, нанесенное страданием, ибо она говорит: «Мое страдание», и значит, она страдает, но мне не удастся растрогаться.

Вот: ее любовник обманывает ее, она уверена в этом; она прибирала его ящики, она нашла письма от женщины, говорящие о недавнем свидании, и ей казалось, что она умирает, читая их... Но я не трогалась



все еще. Она загорается; вот сейчас, за завтраком, у них была ужасная сцена, они оскорбляли друг друга. Отвращение охватывает меня... Чтобы выразить мое внимание и возбудить мою жалость, я задаю вопросы: «Таким образом, вы могли об'ясниться, значит, все ясно?» Она вырывает руки и отодвигается от меня: «Так вы не понимаете?»

Об'ясниться. Это было бы слишком просто. Они кинулись на первый предлог, оба хитря, замалчивая настоящую обиду и зная обиду другого. Неужели я услышу в конце: «Он прибил меня!»

Она закрыла свои прекрасные глаза жертвы, она показала семь ран своего сердца, и она ждет, по крайней мере, защиты моей груди и руки помощи.

— Но было бы так просто сказать правду и постараться, наконец, понять друг друга...

Ее гибкое тело пантеры не может прыгнуть. — Правду! Какую правду? Вы, значит, думаете, что любовь простая вещь: он обманул меня, разве я хочу знать другую правду? — И она не препятствует течь слезам, которые образуют из ее светлых глаз две кровавистые дыры.

Сказать ли ей, что я бесчувственна к ее отчаянию, что ее любовь только обман, исходящий из книг, и что это не любовь? Сказать ли ей, что любовь логична, что она, в сущности, проста и что она не столько в своих порывах, сколько в приносимой ею нежности... Сказать ли ей, что мужчина больше нашего склонен к переменам и что поддаться встретившемуся искушению — это не значит оскорбить любовь, которой отдают предпочтение? Сказать ли?

Она опередила меня:—Я понимаю, я понимаю, вы не любите: бедная крошка, вы увидите, когда вы полюбите! Она обводит своими пророческими глазами строгую комнату, непостижимое спокойствие, окружающее ее. Какое бы вежливое извинение, чтобы скорее уйти? Она проделала весь путь, чтобы встретить истинную сестру по любви, и мы вздыхали бы над нашим общим врагом, который также и общий бог, она ушла бы в сияющей слабости, усиленная и раздвоенная для вечной борьбы.

Отпустить ее уйти так? Так как мною найдена ясность, о которой она не подозревает, будет милосердием призвать ее к ней. Эта женщина... Я скажу ей: «Возлюбленный ни бог, ни враг,—это друг, которого нужно обрести, несмотря на свою страсть. Я хорошо знаю, что это трудно, что нужно стойкую волю и благоговейные поступки, но я клянусь, что можно достигнуть этого...»

В ярком свете окна, у которого она подняла занавес, ибо глубокий двор притягивает ее, как колодец, возникает ее лицо—то же ли самое?—измененное светом.

По краям ее зеленых глаз осталась нестрога слез, но мягкость щек изрыта потоками, обескровленный рот потерял свою юношескую окраску, прекрасный мрамор шеи растянут двумя сухожилиями-близнецами, и драгоценное тело, праздничное тело осело, как сломанная игрушка.

Боже мой, ты видишь, я приблизилась, предлагая ей моими братскими руками новый дух, что распустится на новой земле. Я не единственная, со мной и другие молодые женщины будут говорить. Любовь, которой мы



живем, не похожа на ту любовь, от которой умирают другие.

... Но в миг, когда я была совсем близко, она проявилась в полном свете... я отказалась об'ясниться; нечего говорить: ей на двадцать лет больше, чем нам.

\* \* \*

У меня впечатление, что я не готова; это что-то в роде стыда, темный страх, и когда мне случается выражать его вслух перед другими женщинами, они, смеясь, заставляют меня молчать: «Не бойтесь так, это выучивается само собой, достаточно быть матерью, чтобы уметь воспитывать своего ребенка»...

Случай завел меня в эту улицу. Я шла мимо. Больница. Запах медленный и приторный дышал из ворот, просачивался сквозь стены, окружая прокаженным туманом гнусную постройку. Длинный ряд женщин, вышедший из воронки улицы, уходил в дверь. Не знаю, какая мысль овладела мною, я вернулась и вошла вслед за ними.

Нас заставили сперва ожидать в зале, где варились затхлые запахи аптеки. Кто-то закрыл дверь, и сейчас же начался такой шум, такой концерт человеческого мяуканья, визгливого удушья, пронзительного свиста, что меня охватила словно паника. С глухим терпением животных, согнанных вместе, женщины сортировались, заполняли опросные листки, встряхивая и покачивая одинаковыми движениями хрупкие и легкие свертки, которые все они держали на руках.

Когда я приблизилась к одной из них, я заметила—я наклонилась—измятый уголок старого маленького личика



с красной кожей, и я почувствовала, что я пришла сюда, чтобы попробовать заполнить мое ожидание и заранее увидеть моего ребенка.

У этой женщины было бескровное лицо утопленницы, обвеваемое долгими бесцветными прядями, вялыми, как водоросли. Она увидела мой умоляющий взгляд и жестом благотворительницы подняла для меня грубую серую тряпку, обмотанную вокруг нее: «Три месяца...», сказала она, ибо возраст ребенка говорится раньше, чем его имя.

Крошечная личинка тихонько сморщила свой лоб, похожий на ободранный шелк, потянулась, открыла два стекловидных глаза, окруженных лиловым, и издала сквозь беззубое и выложенное мясом отверстие гортанную жалобу. Предусмотрительной рукой мать уже вытащила из кармана кусочек каучука, который преобразил жалобу в однообразное и лакомое мурлыканье. — Замолчишь ли ты? Ах, вы увидите, какое это горе, — уверила она меня, меряя мой грузный стан. — Мне не повезло, у меня не было молока, сколько я ни даю ему мясного сока и ни приспособляю вареный хлеб — ему все не в пользу. Докторскими советами их не откормишь; знают ли они еще, что это такое!

— Послушать тебя, — проревела толстая блондинка, которая торжествующе несла ребенка с обвислыми щеками, у которого глаза зеленого стекла проскальзывали в две узко прорезанные петли. — Ну-ка, посмотри на моего: в девять месяцев он ест, как мы. Ну-с! Что вы на это скажете?

Образовалась группа. — Что ж ему тут делать? — спросила огромная кумушка, у которой толстые скулы с кро-



вавыми жилками выдавались на огромной голове с седыми волосами. Блондинка заставила малыша сделать пируэт и показала его тело, покрытое коркой с красными трещинами:—Ба! только и всего!

На освободившуюся скамью грохнулась великанша, уложив на коленях принесенного ребенка:—Это моей дочери,—объявила она тем, которые следовали за нею.—Это у нее третий. Вы понимаете, что она может быть вполне спокойна, когда работает на фабрике: мне это дело знакомо, у меня их было одиннадцать.—Произошло сочувственное движение, за которым последовал протест:—У меня осталось двое.—Потом она снова принялась укачивать ребенка, качая об'ем своего тела, позволяя угадывать сквозь свою полурасстегнутую кофту две омертвелых груди, и в мрачном навыке ее колен было что-то страшное и роковое.

— Они вгоняют вас в пот, и вы даете им слишком много, и вы даете им слишком мало, и вы их не моете, и вы их не взвешиваете. В мое время не делали столько историй, и они тем не менее росли. Я сказала моей дочери: «Ну, ты предоставишь действовать мне, мое это дело или нет? Своим я давала хлебную воду,—только и всего». Вы варите две-три хлебных корки...

— О, я знаю,—прервала женщина с лицом утопленницы.—У этого бронхит,—продолжала кумушка,—где он его подхватил? Ведь он никогда не выходит и спит подле печки. Я попытаюсь раздобыть ему бутылочку сиропу...

Дверь распахнулась настежь, и по белому знаку сиделки они все вместе поднялись, повторяя одно и то же влюбленное движение, чтобы поддержать свою исполненную криками ношу.

Толпа раздробилась в огромной и хорошо натопленной зале, прорезанной окнами, наводненными светом, выстланной белым, окрашенной в белое, в глубине которой царствовал красивый старик, в белой блузе, с чистейшей сиделкой подле него. «Доктор» — шептали женщины религиозным тоном вражды, и этот человек действительно казался равнодушным и справедливым, как надлежит Богу.

Перед ним, на голом столе, светлые и блестящие принадлежности правосудия, расположенные симметрично: весы с корзинкой, ряд медных разновесов, которые вызывали крикливые звуки разрозненной музыки солнца, и другие инструменты.

С замечательным проворством женщины развязывали пеленки, вертели, трясли, разматывали; блондинка выпячивала грудь, утыканную булавами, великанша держала их в зубах, в то время, как удупливый запах теплого полотна, скисшего молока, пота и тошнотворного тела поднимался среди криков.

Очередь началась. Одна за другой приближались они, поднося своего ребенка, как бедный, оборванный и раздавленный цветок, и у всех их была та языческая и трусливая вера, которую принимают трусы, чтобы приблизиться к Богу.

Со скамьи, на которой я сидела, я видела их, показывающих мне то, что могло бы случиться и с моим ребенком... этот, с шеей, треснувшей красной щелью, и тот маленький, с волынкой, которую образует его живот, и этот, у которого ребра перерезывают туловище, и тот, со вздувшейся спиной, прорванной пустулами.



«У него зеленый понос. У него вспученный живот. У него сыпь. Он кашляет». И те же слабые ответы на вопрос доктора: «Не знаю, не знаю,—не знаю».

Мужчина окидывал блестящим взглядом протянутый ему листок, ощупывал маленькое тельце, оставаясь безучастным, чтобы произвести быстрое определение, и переходил к другому.

В сонном стаде, уходившем с опущенной головой, некоторые, чтобы овладеть собой, кусали пугливым поцелуем тело своих детей, словно они хотели отомстить и хорошенько показать, что прежде всего этот человек причинил ему боль...

Я поднялась, волоча мою двойную тяжесть.

Так вот она, священная и прославленная материнская страсть: «Не знаю, не знаю, не знаю», и я готова была подчиниться доверчиво той же страсти, я, знающая не больше их, я, не выучившаяся неведомой любви, которая меня ожидает.

Почему этот человек, он, который *знает*, не восстанет, чтобы вырвать эти жизни, оскверненные влюбленным неведением матерей, почему не кричит он, что инстинкт обманчив, зловец и по часам преступен.

Под воротами толпа женщин нагоняет меня, так как я бреду с трудом, и утопленница, заметившая меня, делает мне дружеский знак: «Вы увидите, говорит он, скоро придет ваш черед...»

Да, я знаю... Быть матерью... В обмен за дарование жизни, иметь право смертной казни над своим ребенком. И воспользоваться им.

Резь, неопиcуемые мучения, боль, впившаяся в тело, борьба, кровавые крики.

Я помню обо всем и о каждой секунде, о тех, когда я кусала мои простыни, о тех, когда поднимался рев дикого животного, и о всех, и о других, и о том, что никогда ни одна из них не была последней, и что часы прибавлялись к секундам в жестоком, нечеловеческом удушье, где все мое существо ожесточалось против самого себя, и что у меня больше не было сил испытывать боль.

Моя голова поворачивалась в животных и умирающих мольбах, задыхалась в подушке, увлажнялась потом, слушала, как рождается и разбивается, подобно волне, новая судорога, и когда адская сила вызвала резь сильнее всех других, я смутно услышала крик, который больше не был моим, огонь моих век потускнел, я рухнула в солнечную и тяжкую бездну, кончилось... все кончилось... я заснула.

Долго ли я пребывала в этой летаргической неподвижности? Когда я открыла глаза, мне явилась одна за другой стены моей комнаты, обнаженные и белые, воздвигнутые внезапно. Вокруг меня было ужасающее молчание, населенное свистом, и я видела женщин, склоняющихся, исчезающих, уносящих охапками белье бойни.

— Мой ребенок! Мой ребенок!

Его отец торжествующе протягивал его мне, и я пришла в сознание. Но, Боже мой, как он был безобразен! Сморщенное лицо старухи, ястребиный профиль, лоб, покрытый лохматой слизью, щеки, натертые яичным



желтком, руки, похожие на птичьи лапки, подбитые рваной розовой подкладкой, и настоящие ногти...

В том месте, которое называется родничок, череп его бился так, что становилось страшно, покрытый порослью, менее частой и густой, чем только что вылупившийся цыпленок.

Я взяла его на руки, прямого и длинного в своих пеленках: как раз в это мгновение глаза его раздвинули чешую и обнаружили свое лиловатое стекло, оживленное молочным отсветом.

... Вот это и есть наш ребенок? Мы по очереди запечатлели робкие и благоговейные поцелуи на пушистых щечках, созданных из нежного запаха, и я не посмела ничего сказать.

Так значит... крик крови, радость плоти, порыв любви, наконец, инстинкт, темный материнский инстинкт?..

— Нет!

\* \* \*

... Эти вещи, их бы я хотела запечатлеть навсегда. Они представляются мне теперь в действительности, как мой сын явился мне в своем мгновенном облике, но недостаточно сказать: «Я их вижу». Я заботливо сохранила все его портреты: я хочу сохранить память сердца, которую он дал мне.

Легко сказать. Другие чувства слишком заинтересованы, чтобы быть описанными; нужно рассказать кровь всего существа. Любовь неодолима, и скорбь непреодолима, но сердце матери может открываться, как книга. Оно ровно и просто, чисто от всяких примесей, и даже бесконечность его словно ограничена.

Мой ребенок подле меня, он пробует первые шаги в саду; не поднимая глаз от моей работы, я слежу за ним и благодарю его.

Это он. Сколько бы он с каждым днем ни менялся, я наизусть знаю его движения, густой локон, в который заворачивается солнце, неуловимые дуги бровей, которые всего лишь только тень, алая пыльца, которой осыпаны лепестки его щек, его круглый профиль и перламутровый затылок, веер из колбас — его пальцев, его единственный силуэт, который единственный только для меня.

Чтобы вспомнить, что он некогда тайлся в моем теплом чреве и что я носила его, как один из моих органов, как мою тайну, как носят свою радость или горе, я принуждена убеждать себя в этом: я не помню больше.

Я тороплюсь, чтобы он вырос и чтобы умел слушать: мне бы хотелось говорить с ним. Я нашла слова для других. Они внушали мне тем не менее только неопределенную любовь и хаос сердца. Ему, который дал мне непостижимое чувство, ему я ничего не сказала.

Я люблю его, как не люблю никого другого, ибо он единственное живое существо, за которое я *ответственна*. В моей любви это прежде всего. Если он наклоняется, я удерживаю крик, если приближается солнце, я заслоняю его, если он делает новое движение, меня охватывает тревога. Все то, что касается его, кажется мне опасностью; это живое и желанное дитя, которым все любят, и когда к нему подходят, я улыбаюсь доброй естественной улыбкой, но его жизнь и смерть непрерывно играют в моем теле; беспрестанно мне кажется, что уносится его жизнь. Это трагическая ставка, это



кровавый вопрос, который задают нам, и в этом вся суть материнской любви.

Он побегал к беседке из хмеля в тридцати метрах от моего стула, и я должна была опустить работу, так как это расстояние заставило трепетать меня. От времени до времени он, спотыкаясь, приносит мне маленький кусочек дерева, выловленный в песке, где он играет, большой булыжник, все равно—какое-нибудь открытие: «На, мама», и его внимание придает мне гордости.

Если я исчезну, ничего не оставив... Нет, не завешивание: я чувствую, что несправедливо, нездорово и нечестно говорить моему ребенку из-за могилы: «Раньше твоих первых шагов, жизнь твоя совершенна целиком; для того, чтоб ты был счастлив, я отстранила от тебя достоинство, чувство справедливости. Суровая борьба, что побуждает человека, первоначальная забота о существовании, честность, наконец, честь,—ты не нуждаешься в них: разве ты не мой ребенок? Если я трудилась, то это было для того, чтобы грабить живые существа, и это я сделала для тебя. Ты будешь освобожден от зарабатывания хлеба, от выполнения ремесла, ты обопрешься на чужой труд, у тебя будет заблуждение, что ты отличаешься от других: на это пошло мое усилие».

Когда он будет взрослым, взрослым молодым человеком, на которого заглядываются с удивлением, осмелюсь ли я нанести ему оскорбление в лицо и сказать ему:

«Ты для меня не все, ты никогда не был всецело моей любовью. Я баюкала тебя на коленях, я служила тебе, я боготворила тебя, я не обманывалась. Я хорошо знала, что, любя ребенка, обычно только отдаешь, никогда не получая взамен. Другим я сохранила высшее



место. Насущное моей жизни, ее последний смысл, если его возможно найти, нет, я посвятила его не тебе.

Таким образом, ты имеешь право уйти от меня. Ты должен быть лучше, ты должен отрицать меня. Ты видишь, я преклоняюсь перед тем, что ты есть, и я освобождаю тебя от того уважения, в которое запирают детей, я беру его на себя. Что бы я ни делала, пусть участь моя не служит тебе примером, нет, никогда не будет примера, кроме тебя самого, одного тебя и никого, кроме тебя.

Тебе нужно будет сделать так много: все, чего не сделала я. Уходи, не оборачивайся; для чего же ты родился, если не для того, чтобы уйти от меня? Ты конечно плоть от моей плоти, но плоть, которая не похожа на меня, это противоположное течение, которое вышло из меня... ты все то, что говорит нет всему, что есть я.

Если мне больно видеть твое исчезновение, если мне страшно, если я страдаю,—это тебя не касается. Я была предупреждена в день твоего рождения, разрыв будет длительный, пока хватит меня: мы разлучаемся с каждой минутой, твоя голова возносится к небу, моя приближается к земле.

Нужно, чтобы так было. Без тебя, ты видишь, я была бы правой, но я родилась не для того,—для того, чтобы ты был прав... нет, не медли, жизнь всего только уход, и всякое промедление—измена.

Я пойму много вещей, благодаря тебе. Я всегда пыталась быть ясной и хорошо знать себя, но когда я доходила до сути дела,—я хочу сказать, до дна себя самой,—у меня всегда оставалась другая строптивая



душа, которая отказывалась высказать свою тайну, и я часто сомневалась, что можно человечески познать истину.

Я не ошиблась. Моя истинная часть непостижимого, моя неприступная душа, она там, в твоих глазах, и то, чего не знала я, разберешь ты. Если б ты увидел, как я созерцаю тебя! Путникам, пришедшим издалека, коснувшимся сказочных стран, скрытых прекрасными золотыми именами, — подобен ты. Твои глаза увидят дальше горизонта, в котором теряюсь я, и я говорю тебе, что из нас двоих надлежит склонить колени, слушать и молиться — не тебе.

... Мой крошка, я обязана тебе единственной любовью, которая будет печальной и совершенной, той, которая не обменивает и не ожидает никакого воздаяния. Потому что я отдала тебе все, ты мне ничего не должен».

Хватит ли у меня смелости сказать ему так? Это будет нелегко, быть может, но я считаю уже дарованной мне милостью — иметь возможность двадцать лет готовиться к этому.

Вот он возвращается ко мне. На этот раз он бежит, потрясая своей полной рукой ветку, которую сорвал сам; он поставлен на своих коленях, как на круглых шарах, спотыкающийся в своем неуклюжем беге, его толстые щеки испачканы красным, и он падает на меня, лепеча: «Мама», ласкаясь и вертя головой.

Болезненное мгновение поцелуя, безнадежное мгновение неудавшегося объятия, легкое мгновение прикосновения, и он уже убежал...

Опыт произведен.

Мы жили рядом в голой деревне, и мы соединили покорные жесты жизни, непосредственные заботы, мы разделяли протухи, пыл ходьбы, пахучее молчание маленького леса, всю свободу, начертанную на земле и несомую водами; наши взгляды отныне чувствуют себя братьями, и у меня есть неправдоподобная надежда сказать некогда: «Я нашла друга».

Уже одно ее имя мне кажется великолепным: Ева... Я познакомилась с нею в конторе, где я работаю. Прекрасное видение первого дня! У женщин так редко встречается сила, соединенная с нежностью, что ее походка казалась мне несколько сверхъестественной. Тем не менее это было не что иное, как уверенность и то величие, которое дается здоровьем: у нее был вид плывущей против течения. Она являлась во весь рост, во всей своей смелой жизненности, и не к чему было вопрошать ее глаза, как обычно делают, чтобы понять тайное существо, которое выражалось столько же стремительными жестами, улыбкой откровенных губ, смелой постановкой головы, сколько прекрасным коричневым взором, что темнел прямо на вас.

Первоначально нас связал род осторожности.

Я заметила ее усердие, ее желание сделать хорошо, что-то похожее на героизм, что заставляло ее бросаться навстречу жизни, вносить в нее больше, чем свою долю.

Наше молчаливое согласие длилось довольно долго. Может быть также, что интуиция, таящаяся в женщинах, работала, без нашего ведома, больше слов. Однажды вечером,



чтобы выразить свое радостное ожидание очага и любимого мужа, она сказала такую нежную, такую теплую, такую целомудренную фразу, что я прозрела в ней женщину. Ее лицо, всегда замаскированное энергией и почти слишком сильное, стало нежным и торжественным, словно окутанное ясностью. Я вообразила чету по ее образцу, ибо женщина образует и разрушает чету; эта должна была осуществить глубокий союз... Вечер был ясен и легок, мы вышли вместе.

Мне кажется, я долго не забуду о чистом голосе, который говорил и, словно неопалимая купина под силой и юностью, открывал тревогу жить. Я боялась приближения места, где мы должны были расстаться...

Увы, мы уже пришли. Краснота неба окрашивала пурпуром ее лицо, разливала позали нее в пыльной россыпи неосязаемый ореол:—До завтра,—сказала она мне. Я почти бежала, покидая ее, с грудью, исполненной благодарности, и я вспоминаю,—мои глаза колоди края век.

С тех пор прошло немного времени, и когда было принято решение поехать провести наш летний отдых вместе, я предчувствовала нашу близкую дружбу.

Мы сделали это: безумную попытку соединить две четы—две бедных четы в том же самом бедном доме,—мы сделали это и мы были счастливы и веселы. Нужно верить в чудеса.

Я верю в них. Чудо же в том, что эта девушка с загорелыми щеками, шагающая в это мгновение подле меня, высоким стеблем своего става, танцующим припевом своих шагов и блеском тела, есть могущественнейшая приманка пейзажа; другие женщины проходили по вечной земле, и они были так же живы, так же призывны и



трогательны; но того, что чело ее светло, ее походка сжата, что взгляд ее уверен, обострен умом, что она идет с любовью к любви, которую она соорудила собственными руками, что она свободна, что она пытается быть искренней: наши матери не знали. Женщина, заключенная в нас, не обязана им ничем, кроме своих недостатков.

Чтобы понять сразу, что наша человечность нам странно нова, достаточно последить за ней, несущей свою волю на своих плечах, ведя ее к своей внутренней мысли, к простому желанию быть сильной, любить и быть правдивой. Достаточно последить за ней, идущей среди природы: как она идет, как она впитывает в себя морскую суровость воздуха, и как она восприимчива ко всему, к большим эвкалиптам, чьи серо-зеленые плюмажи качает ветер, заставляя их трещать, к охре холмов, переплетенных в клетку виноградом, к томности прекрасных берегов в голубой одежде.

Когда она вернется в строгую и цветущую комнату, в которой она живет, какую жизнь поднимет она, какую творческую мощь, какое эхо, какое дыхание, сколько гармонии сумеет она внести в них.

Удастся ли нам когда-нибудь, ей и мне, это величайшее произведение искусства, каким является дружба? Мне казалось это почти невозможным между двумя женщинами. Я видела их всегда об'единенными против мужчины; они сходятся только в соумышлении. Едва лишь они об'единены, человечество разделяется на два стана, и в нашем почти всегда готовится хитрость и ложь. Женщина перед женщиной? Два врага, что измеряют друг друга. Если их соперничество стихает, то лишь для того, чтобы расставить ловушку мужской слабости.



Она обернулась:—Скорей. Мы должны были бы уже быть дома.—И в ее улыбке столько доверчивости, а в моем сердце столько радости, она такая сияющая, такая здоровая, ее присутствие такое зажигающее, что я говорю, что нужно было бы когда-нибудь изменить имя дружбы и назвать ее так же, как и любовь.

\* \* \*

Беседка на берегу воды. Зелень свежая и искусно обработанная. Ветви окаймлены солнцем. Совсем рядом безмятежность беспечной реки...

Мы решили отпраздновать здесь вторую годовщину нашей свадьбы. Мы встали сегодня рано утром и соединили руки, уравнивали шаги и пришли к этому весеннему месту, как на назначенное свидание.

Мы повавтракали на воздухе, со всеми этими фесто-нами над головой; полдень сжигал окрестности, стол был завален гирляндами, арка беседки поддерживала пейзаж. Это как раз нужная рамка.

... Два года...

Время после полудня медленно текло.

Он подле меня. Я вижу его сидящим в профиль, лицом к реке, лицом к облачной линии, где засыпает горизонт, и его неопределенный вид, влекомый всем, не останавливается ни на чем. Можно сказать, что он составляет сумму всех дыханий природы, всех черт и каждой выпуклости, и он не видит—ибо сегодня необыкновенный день—ничего, кроме огромного целого, представляющегося нам.

Стой. Считают по пальцам, делают внутреннюю перекличку, прежде чем уйти... сейчас, при отправлении в путь, огромный амфитеатр испарений, склон, увитый деревьями, и его туманный рубец станут один за другим делать нам трепещущие знаки.

Два года. Чем стали моя любовь, моя надежда, то безграничное сердце, что обитало во мне?.. Нас двое. Это все.

Тот же поток мысли, если не та же мысль, катит в нас свои волны. То же пламя—если не одно и то же сердце—поднимается внутри нас. Та же любовь к истине—если не та же истина—светит в нас. И чтобы соединить нас, чтобы хорошенько сблизить, нет ничего, кроме молчания.

Мы любим друг друга лучше, чем когда бы то ни было: мы не высказываем себя более.

Если бы в первый день мне сказали: «Ты хотела бы объяснить ему все: то, что ты есть, то, что ты видишь, то, что ты хочешь. Ты хотела бы выпросить у него все: то, что он есть, то, что он видит, то, что он хочет. И ты хотела бы открыть все: все, что в вас примиримо, и, быть может, прежде всего то, что в вас непримиримо: вот твоя часть, вот моя часть и вот солнце, которое невозможно достигнуть, вот туда-то и нужно уйти». Я кивнула бы головой: дело в действительности обстояло так.

Но если бы нужно было идти далее: «Настанет день, когда вам будет нечего открывать друг другу, когда вам будет нечего сказать друг другу; не объясняясь, вы поймете все»—я усомнилась бы, что настанет такой день, я кричала бы, что целого столетия не хватит, чтобы,



согласовать два существа, ибо они изменяются с каждым мгновением, и мне казалось бы, что я слышу богохульство.

Этот день настал...

Это место с нежными голубыми очертаниями, где погасли слова. Он существует, и я существую.

Это маленькая зеленая беседка, где в общем ничто не связывает нас: ни огни листвы, ни запах журчащей и скрытой воды, ни медленное время, ни прошедшие ночи, ни будущие дни, ни ребенок, спящий там, в своей колыбели. Если что-нибудь связывает нас, то свобода, которую обрел каждый.

Никогда не следует говорить: «Это любовь», ибо любовь есть то небо, которое представляет себе сердце, и нужно еще пройти все пространство... Это огромное чувство, которое говорит и которое толкает вас, и которое состоит из уверенности и света.

Я уверена в нем.

Он может увидеть в моих руках даже орудие преступления—или по крайней мере то, что изображает орудие того, что он считает преступлением. Не поднимая бровей, помня, что моя нежность непогрешима, он скажет мне: «Хорошо», потом он приблизится, чтобы услышать от меня, почему то, что я делаю, хорошо.

И он уверен во мне. Он мог бы покинуть нас, свой очаг, свою любовь, своего ребенка, даже не рассыпав взгляда назад я просто сказала бы: «Так нужно, чтобы он ушел. Пусть он повинуется нашей любви и следует своему голосу, вот так мы любим друг друга».

Это мгновение, расположенное у подножья холма, долгое мгновение, столь ласковое, столь неподвижное и

столь спокойное, что, видя его, видишь словно открытую дверь, так что нужно сосредоточиться прежде, чем войти туда. Два года позади. Впереди продолжительность моего существования.

У меня были свои страхи и сомнения. В начале я говорила себе: «Позволит ли жизнь такую любовь? Во что обратятся это усердие и эта воля? А он? Позволит ли он, чтоб я любила его по желанию моего сердца?»

У нас были ежедневные заботы, бедность и усталость, все эти страшные вещи; мы извлекли из них много взрывов смеха и еще более силы. По вечерам его шаги звенели на замазанной черным площадке: я бежала к дверям, чтобы коснуться его улыбки, он обнимал меня, часы сбегались вместе, вот каким образом пролились два года, даруя свои плоды, и как мы стали строги друг к другу, потому что совершенствование издали являло нам свое лицо.

Так, не произнося ни слова, при посредстве прибывающих минут и при посредстве приближающейся божественной простоты, достигаешь избранной страны и даже сердца любви.

Я говорю то, что вижу: жизнь позволяет всю любовь, все величие двух существ, и между ними она допускает даже невозможное. Я говорю то, чем мы теперь стали.

Мы поднялись в одном созвучии: мы знали, что уже пора, что наш ребенок ожидает нас, и наш дом, и завтрашний день, и тысяча нетерпеливых желаний и то, о чем не знаешь.



Мы шли вдоль крутого берега. До каких пор?—Я не знаю, но я знаю, что сладко и сладко, и что его рука зацепится за мою.

Перед нами были два берега, усыпанные разнообразными домами, оба окаймленные тростниками, острыми и высокими, как мечи.

Если следить за ними, не отрывая глаз, то испытываешь нечто в роде головокружения: они притягивают, эти две линии, навсегда разлученные и навсегда сплоченные шествием воды.

Чудо. Разве это не чудо?—Арка. Вышедшая из земли одного, вышедшая из земли другого, влюбленная и прочная дуга одновременно стягивает их и заставляет обняться. Несмотря ни на что, они были, как два осужденных, но в одной точке проходимого ими пространства они образуют всего лишь один берег, они соприкасаются, они спаиваются. Потом они следуют по своему расширенному ложу и, несмотря на очевидность, тесно связаны, чтобы поддерживать углубившуюся реку, которая касается своими устами уст океана.

... Да... еще один взгляд...

Над холмом, склоненным, чтобы в блаженстве опочить, небом только что вкраплено легкое облачко лилового цвета, и арка звучит перед нашими глазами, как аллилуйя из камня.

... Идем...

\* \* \*

Он вошел.

Я не сумею сказать, как приняла я первые шаги, которые он сделал в моей жизни; я могу найти только смутное впечатление их. Вместо безразличного человека,

это был воплотившийся аспект меня самой, который ходил вне меня и не узнавал меня.

Он приближался довольно робко. Мое сердце дрогнуло... Он приближался... Я смутно чувствовала, что для меня совершается огромное событие в далеких областях и что тень его тела разливалась перед моими глазами огромную новизну.

Я нашла его очень нежным, я заметила металлический свет встревоженного взгляда и то, что его стан делал его подобным большому дереву, которое возвышается над другими и опускает свои ветви, чтобы не быть в одиночестве.

Итак, что будет он делать среди этих людей, какой образ он примет, он, единственное здоровое существо из всех присутствующих, как будет он вести себя в этом блестящем салоне, переполненном чирикающими женщинами, ослепительными люстрами, обнаженными плечами, водопадами смеха и густыми духами.

Я очень старалась быть на высоте, но я быстро была принуждена признать себя побежденной: эти женщины не говорят как все; кроме «шедевр» и «трусость», «божественно» и «адски», «ужасно» и «преlestно», они не имеют слов, и среднее существо, как я, позорно обычное, тусклое, без пороков и достоинств, конечно, принуждено молчать пред ними.

Старый господин, приблизившийся к группе, державшей меня в плену, прикрыл мое бегство, и из угла, которого мне удалось достигнуть, я увидела их, с жужжанием приклеившихся к нему, предлагая ему целую розовую гамму бюстов, зажигая вокруг него фейерверк... Издали хозяйка дома углом глаза строго следила, чтобы



ни одна из них не выделялась слишком. Должно быть, этот старый насмешливый господин был кто-нибудь очень важный.

Воздух от дыма становился невозможным для дыхания, резкий шум увеличивался непрерывно, и я была прикована к моему стулу, не смея шевельнуться; это было совершенно так же, как в кошмаре, когда ужасная тяжесть давит вам грудь, когда попрежнему видишь ясно: «Я умираю, я умираю». Тяжесть давит сильнее: «Да нет же, я вижу сон, я сейчас проснусь», и чувствуешь себя об'ятой равным бессилием сбросить тяжесть и освободиться от кошмара.

В миг, когда я со всем мужеством делала всеми моими мускулами усилие, чтобы избавиться от подавляющего зрелища—я уже нашла вежливый предлог, который спас бы меня, и мне оставалось только встать—именно в этот миг он вошел.

Хозяйка дома подошла к нему со своей четырехугольной улыбкой, высоко подняв руку. Живая струя света стягивала ей шею; она произносила приветливую фразу, которую она повторила по крайней мере двадцать раз за время моего пребывания там.

Я очутилась у них на дороге; она подвела его ко мне, бросила между нашими сблизившимися лицами, словно мячик, слог восходящий, слог нисходящий, потом она заставила его проникнуть в соседний кружок, пока я слушала, как глухое эхо его имени вонзалось мне в сердце.

Я позабыла дым, свое желание уйти и окружающую сумятицу; даже тяжесть исчезла. Именно так исчезает кошмар, и сон светлыми излучинами продолжает его.

На него не слишком обратили внимание. Шумная дама, председательствующая в кружке, заполонила все взгляды. Она была кругла и коротка, в разговоре она шевелила двумя плавниками, которые заменяли ей руки; от времени до времени она извлекала из своего тела, как из толстой коробки, трепещущий смех, который струился по поверхности ее груди розового цвета. Вдоволь посмеявшись, она вымогала смех, обирая лица, но она принуждена была остановиться на вновь прибывшем, столько выражало его откровенное лицо осуждения и отрицания.

Какую сияющую благодарность хотела я выразить ему.

Я была побеждена, и он был побежден в свою очередь тоже. Я вскоре увидела, что он ищет убежища. Одну секунду его глаза скользнули по мне, но я тоже внушала ему страх; тогда он удалился с тем же убитым и сконфуженным видом, который должно быть был у меня.

Он удалялся... завеса пальм... он пропал...

Кошмар возвращался отдельными вспышками. Он охватывал меня липкими щупальцами, звонкими и горячими бляхами своего шума, узлом, который вновь душил меня. В тумане проходили призраки, обмениваясь нелепыми поклонами, вывихнутыми жестами, бредовыми речами; женщина, одетая цехинами, украшенная светлыми стружками, обернувшись, прорвав завесу, другая следовала за ней с улыбкой, окрашенной в красное, еще другие, спеша. Раздавали пищу в ротонде, покрытой узорной тканью; столкновение серебра с хрусталем сме-



шивалось со звуком фарфора, вскрикиваниями и шопотом; кормежка началась.

Я сплю, и невозможно, чтобы людское сборище было таким оскорблением жизни, что оно создает из нее такую пародию. Когда живые собираются и наряжаются, то для того, чтобы выявить сообща то, что у них лучшего; не для того, чтобы разливать вокруг себя этот шум и желчь; я, должно быть, сплю.

Маленькая группа возвращалась, женский смех прорезал застывший воздух, как резкие удары хлыста.

Тогда я сделала вторично всем моим существом раздирающее усилие. Продырявленная взглядами женщин, парализованная вниманием мужчин, я пересекла салон и, ведомая силой, что действовала за меня, я оказалась возле этого человека.

Он тяжело поднял глаза. Он улыбнулся? Я не знаю. Но у него тоже был вид, будто он глядит на свет.

\* \* \*

У меня новый друг.

Друг... Когда я вижу его, я словно пересматриваю все, то, что я собою представляю, это словно неведомая искренность, что толкает меня, умножает меня и приближает к нему.

Если он отсутствует, у меня впечатление, будто я открыла сокровища в самой себе, точно черпаю оттуда всей грудью...

И под моими стопами ключом бьют гимны...

\* \* \*

«Почему? Да скажите мне, почему вы так сжали мою руку?»

Я наклоняюсь к нему, моя голова задевает его грудь, он в экстазе, растерян и такой же улыбающийся, как готовый наступить вечер.

Он не ответил.

Спустившись с защищающей нас высоты, шелковистый ветер высекает его лицо, привязывая меня к нему. Или мы находимся на краю истинного молчания, последнего, того, где существа находятся лицом к лицу: «Вот ты. Вот ты?»

Это многоэтажный сад, и если бы это был другой вечер, я бы продолжительно восхищалась им. Каждая аллея открывает рай и каждая ревнива и свежа, как колодезь; на земле булыжники, сверкающие, как тонкие блестящие стекла; каймы присов, лиловый запах которых таится меж стеблей, изобилие распростертых ветвей и возле нашей скамьи навес кустарников, откуда порой вырывается вертикальной чертой, как тяжелый камень, взлет серой птицы. Ниже, там, в полукруге дали, сквозь колеблющийся свет, искрящееся видение хора зажигающихся домов.

Если я с таким рвением присутствую при этом зрелище, если его нежность причиняет мне почти боль, то это потому, что я чувствую, что *он* глядит на меня... Он называет отблески моих кольчатых волос, мой лоб и его мощную ясность, мой рот и мои зрачки. В его трепещущем телесном голосе их названия так новы, что я закрываю глаза, чтобы в свою очередь видеть их... И я не знала...



Сад опять переменялся. Бледные отсветы охры. Трепеты ползучие и влажные. Черные, тяжелые чехлы на зонтиках деревьев. Качающийся кипарис ведет свое мрачное анданте... И кажется, мой любимый, что мы здесь впервые одни, что только в этот вечер и под этим низким небом мы нашли друг друга.

Тени становятся беспорядочнее, собираясь бороздами, притягивая к себе смутные белые волосы. Неведомые мысли выскальзывают отовсюду, слишком быстрые для меня и уносимые ветром... Справа от меня его лицо стерлось, ограничивается главными чертами, серебрится и уподобляется медали...

Вполне ли я уверена, что он все еще подле меня? Я сжимаю свою руку, замкнутую в его: верные и правильные биения его руки убеждают меня, что все хорошо, что здесь на земле все справедливо, что все действительно, сад и листья, искры города, собранные в полумесяц, и лиловый час действителен тоже.

Воздух шевельнулся и, быть может, освежится. Пойдем. Прямо вперед, до последней террасы, оправленной балюстрадой, потом мы пойдем по большой аллее, поставленной на страже у входа в сад.

Он тихо взял меня под руку. Не смея прижаться — тяжесть его присутствия тянула меня к земле, — я чувствую, что я одна, чтобы поддерживать свою жизнь. Кто скажет когда-нибудь ему, кто скажет, какая это драма? Узнает ли он, каким я вижу его, как он для меня существует? Другие, и он сам, видят этот огромный стан всегда несколько согнутый, как будто он не осмеливается быть высоким, сталь глаз и полосу лба, которую преувеличивает всякая тень, и этот взгляд,

затуманенный облаком; они может быть видят его простоту и прозрачную доброту, но они и кончают на этом.

Я примешана к тому, что в нем неизреченно; все вопросы, которые может себе задать мужчина, не имея возможности их разрешить, все эти смутные и цепкие боли, я принимаю их, и когда он является мне, я чувствую, что одно слово было создано, чтобы выразить все вещи, но ни одно не создано, чтобы выразить его лицо. Оно слишком вне всего, слишком скрытое, быть может, слишком похожее на меня.

Аллея начинается. Аллея, это торжественный корабль, где деревья идут попарно, близкие и столь прямые, что почти нельзя сказать, что они двигаются. Это собор. Ледяное молчание клеймит вам плечи, храм отважно стремится свои траурные колонны, и ветви, простираясь вдоль стрельчатых арок свода, соединяются в небесах.

Помимо своей воли говоришь шопотом: «Вверху—это краснота цветного стекла...»

«Скажите, что вы любите меня... скажи... скажи, что ты меня любишь...»

Он сказал *меня*, он сказал *ты*, точно можно, не бледнея, перенести этот толчок в грудь, и так как я теряю сознание, он обвиняет вокруг меня свою непреодолимую руку. На основе жизни моей будущее рвется... У выхода из аллеи последний золотой луч забился под черную массу. Я не умею говорить эти вещи, но моя голова поднимается, как легкая священная чаша, и я приношу ему мой взгляд: Все ли я высказала так?

Пойдем. Я не могу больше. Он снова взял мою руку, которую он сжимает горячей силой своих пальцев и



которая неподвижно слабеет, ладонь мертва и уже похолодела.

Что же я сделала, чтобы заслужить эти прозрачные сумерки и медленную рапсодию, поднимающуюся вокруг нас? Я уже любила однажды: знаю, что это идет в счет. Если у меня не было этого огромного порыва ласкать другого человека, если у меня еще не было его, было ли у меня столь ясновидящее сердце? Новый вечер был ли бы так милосерд? Но если, несмотря на мое углубленное сердце, я не была еще достаточно многочисленной, недостаточно большой, недостаточно...

Мы дошли до конца аллеи. Мы прошли так много. Позади нас складывается перспектива в непрозрачном отдалении, и весь корабль, печальный, как храм, покинутый богом, медленно потухает под покрывалом молчания. Наш путь почти окончен. Мы можем еще перейти эту безнадежную площадку, где тощие кусты простирают свои обугленные руки, чтобы поддержать кривую линию золотого и черного луча.

Видит ли он его? Оно скользит вокруг нас, тут, на расстоянии вытянутой руки, это высокое, головокружительное мгновение... Если б не это сумасшедшее движение, эта завеса на глазах, сухость губ, я, может быть, достигла бы... До меня доходят только его обломки, но они достаточны для того, чтобы ослепить.

Стоя против меня, устремив взгляд на мою грудь, он кажется достигает тоже.

Что нужно делать, когда ты всего лишь скромное человеческое существо, и когда нет ничего, совсем ничего в твоей власти, чтобы удержать сверхчеловеческие мгновения?

Пусть по крайней мере мое желание истины испустит свой пламень, оно есть самое чистое из того, что я имею, моя единственная заслуга, и пусть оно сотрясает меня, как ветер дерево, и пусть мои руки, если посмеют, разорвут это платье, скрывающее меня от его глаз; платье ложь, а мгновение было наго.

Он понял. Он так явно вздрагивает, что я чувствую трепет моих грудей, как двух одинаковых цветков, и содрогание всего моего существа. Он притягивает меня к себе и держит, не смея меня обнять, забившуюся на дно гнезда, маленькую, задышающуюся, потерянную...

Если корабль потонул, если аллея почернела и если прекрасное мгновение исчезло по моей вине, если нам осталось сделать всего несколько шагов, если мне нечего ему дать, пусть по крайней мере он разделит со мною единственную мысль, которая еще есть у меня.

Это странное познание моего тела. Но тела, которое больше не принадлежит мне, настолько оно ясно, полно отзвуков, деятельной крови, полно жара, призыва... тела с глубокой плотью, сжатыми руками и ногами, тело светлое, как факел, растроганное, как душа... тело, которое я хотела бы отдать ему своими руками.

\* \* \*

«Нет, не вставай, сиди: это я.

Ты сказал, что сегодня вечером ты не работаешь: я пришла. Я хотела поговорить с тобою.

Хочешь, я сяду совсем рядом на полу, на подушку, под окном: я люблю это место, когда светло, как сейчас.



... Если я колеблюсь, то не потому, что это трудно; наоборот, слишком просто, а слишком простое всегда немного вне отрывков языка.

Я не поведаю тебе ничего. Ты понял. Ты знаешь. Но верно и то, что я пришла к тебе, и что признание, которое я хочу сделать, вращается вокруг нашей любви, ибо оно принадлежит ей.

Как ты глядишь на меня... Твои глаза доходят до дна... Да. Конечно... не правда ли, ты видишь: я люблю его.

Быть может, оно уже кончено, это признание, которое было таким длинным, таким длинным, прежде чем я начала его, и таким тяжелым... Но нет, так как мои глаза прорвались слезами, оно еще не кончено. Ну, так слушай, я совсем не знаю, что я тебе скажу, но не останавливай меня, дай мне... дай мне...

Господи, я хотела бы, чтоб оно пришло в порядок; и я обещала себе не волноваться, принести просто тебе мой голос; и даже сейчас, входя, мне показалось, что я выросла, что я была вознесена; я слышала, как шевелятся мои слова, словно настоящие вещи... А эти совсем маленькие, и они причиняют мне такую боль, что я бы хотела найти другие...

Подумать, что на краю этого окна, на месте, где я сейчас, мы так часто вместе говорили о любви, не о нашей, о любви вообще, помнишь, и ты говорил — кажется, ты — «Прекрасно не лицо, которое любишь, прекрасна испытываемая потребность любить его; между двумя существами важен не бред, в котором теряются, но истина, которую находят», и когда мы вызывали эти

два луча, которые составляют одно: любовь, истина, наши слова были так велики, что мы умолкали.

Сегодня вечером—ты знаешь почему—они, вместо того, чтобы рассказывать свою великолепную тайну, они всего лишь занозы, что разрывают мое горло... И все-таки, когда мы разговаривали здесь, на этом месте, я не знала, нет, что любовь была так хороша...

Ты хорошо заметил, что я переменилась, и ты угадал таким образом. И утром, когда ты остановился передо мной, удерживая крик своей груди, я почувствовала, что ты понимаешь. Возможно и то, что это было слишком явно. Я ходила взад и вперед в солнечном свете, двигавшемся вместе со мною; дом согревался, все в нем было чувствительно, все сверхъестественно; я работала по вечерам все дольше и дольше, словно я боялась заснуть, и когда мы рассуждали о причине вещей, объясняла только я, которая знала. Так же хорошо видел ты, как я углубляюсь в свое молчание, как я иногда бывала ясна в нем, но так часто распинаема.

Ты следил за мной: я могла бы ничего не говорить. Но это стало бы бессмысленным. Не сегодня, завтра. Была ли причина?

И вот она явилась.

Это было вчера. Идя рядом с ним по вечерней земле, я внезапно поняла, что в нем, в нас, во мне, был словно призыв и что я отвечала. Я отвечала со всей той потребностью истины, которая так сильна, так чиста, с той потребностью, которую мне дал ты; она же приводит меня сегодня к тебе.

Возьми ее, прими ее, прежде чем возвратить мне ее. Не будем разбирать, большее ли она для тебя, который



ее принимает, чем для меня, которая отдает ее. Не будем вспоминать, что мужчина хранит в своем теле тщеславную власть самца и что он говорит: «обладать», как говорят обладать вещью. Не будем спрашивать себя, до какой степени величественно единение мужчины и женщины. Пусть наше единение покоится на этом. Всегда есть время для страдания, но только раз в жизни наступает время для того, чтобы любить в истине.

Вот, быть может, в этот самый миг, когда мой голос протерся и побелел до основы, когда ты против своей воли оттолкнул мою голову, когда ты держишься так прямо, как тот, кто готов упасть, — мы сблизимся, как никогда не сближались ранее.

Ты смотришь на колебание вечера на улице... не правда ли, ты видишь, что дело идет вовсе не о том, чтобы уйти, и тем более не о том, чтобы любить тебя меньше, ибо сегодня наши сердца обращены друг к другу; чудо свершилось. Оно не может быть уничтожено.

Слушай меня. Слушай меня так, как если бы ты мог меня понять. Дай мне разлить у ног твоих ту бесконечность, которая содержится во мне... С тех пор, как явился он,—знаешь, я люблю тебя еще больше. Я не только ощущаю твою улыбку и все твое присутствие, обвившееся тысячей рук вокруг меня, я чувствую себя более уверенной в себе самой, да, я чувствую себя лучше, и—согласись с этим—гораздо красивей... Любить тебя—это значит думать о совершенстве, о величии, о свете и простирать к ним руки.

А уйти к нему,—это значит продолжать самое себя, это не значит унижать себя.

Но... что это — неверный свет или тень деревьев?... Твои щеки пепельного цвета, твои глаза совсем влажны и, несмотря на все, я, несомненно, делаю тебе больно... В миг, когда любишь, как бог, замечаешь, что страдаешь, как человек...

Потому, что наше согласие высоко, твоя боль глубже, и мое признание необходимо.

Если бы ты только знал, если бы ты знал!

Ты видишь, я еще дрожу, прежде чем остановиться, так же, как я колебалась, прежде чем сесть, ибо в миг, когда признание кончится, мы почувствуем оба, что оно замкнется за мной до конца.

Разве можно знать, не пренебрегли ли мы когда-нибудь словом насущным, словом жизни, тем, которое обозначает все и которое не высказано. Я не знаю больше, я словно все еще ношу его.

Так вот, я прошу тебя о том, чтобы мне остаться в этом углу возле тебя, надолго; если ты захочешь, ты позволишь положить голову тебе на колени; настанет вечер, который лучше моего открывает невидимые сердца.

Быть может, он уже наступил. Скажи, ты слышишь его?..»

\* \*  
\*

Он приблизился. Кровать занимала все место. Это была одна из тех архитектурных кроватей, которые царят на своих ножках и уменьшают комнату. Она разделяла пространство — узкий промежуток между стеной и кроватью, обитый красным — и распространяла свои владения до ребра света, разостланного окном на полу.



Как я была мала во чреве этой кровати...

Шорох его босых ног все приближался, я закрыла глаза, но когда тяжесть его тела обрушилась возле меня, мои внутренности рассекло подобие страха, подобие отращения.

Я стиснула пальцы рук, положенных на лицо, мое дыхание сгущалось под ними, и я была так напряжена, мое сердце было так ободрано, что прикосновение простыни было для меня невыносимо.

Как далеко от царственного дара самой себя, который желаешь принести в царственный час любви, до импровизированного путешествия, очень приятного, разумеется, но подверженного случайностям незнакомой комнаты.

Возбуждение и лихорадка моего сердца рухнули только что к моим ногам, когда соскользнула последняя одежда и образовала незначительный круг, который переступаешь одним движением. Я не думала ни о чем, кроме как об обитых красным стенах, о гипсе зеркала, растворенного в поддельном золоте, и сельском хороводе, что плясал на занавесках...

И потом, мысль, что он в этой же кровати, *он*, внезапно наполнила мой мозг шумом, преображая невесомое время в дикий поток, который врывается мне в рот через ноздри, и каждое мгновение было ожогом вечности...

Быть может, нужно было сделать движение, чтобы избавиться от этого ожидания. Какое движение? Он не протянул мне даже милостыни своих рук... Враждебные чувства собирались клубком под моей кожей, и мое сердце ненавидело его всем моим сжавшимся телом...

Наконец,—мое страдание достигло высочайшей степени—его обнаженное присутствие коснулось моего; я едва смела представить себе слегка волосатый торс, коснувшийся меня, подвижную ногу, и я притворно уклонялась, отягощенная втайне усталостью и равнодушием.

Как утонувший возвращается на поверхность и впивает голубизну неба, я открывала понемногу мое лицо.

Должно быть, он приблизился еще; я чувствовала, как он тихонько ищет мой стан. Напрасно я защищалась, крепко стиснув локти и сжав ноги; странная слабость влиwała свое масло в мои члены, ослабляла мои мускулы, увлекая меня по своей прихоти, отливая в покорную форму и, помертвевшую, опрокидывая назад.

Мои груди касались теперь его груди... Правда ли это? Его живот опирался на мой живот, все его тело сочetalось с моим, и мое сердце било ключом под этим бесконечным откровением.

Мгновение, когда я желала принести в дар себя самое, как последнее деяние, как единственную окончательную простоту между нами обоими, как единственную человеческую жертву, как единственное средство действительно обнаружить себя, темное мгновение аллелуи слилось с этим мигом, уничтожая все промежутки, опрокидывая чуждую обстановку.

Как я была счастлива... Не шевелясь, я слушала глубокое мерцание его жизни и через упорное трепетание его шеи, объятия его рук, наше одинаковое горение, я его лучше постигала, чем чувством прошлых присутствий. Все то, что вырабатывается невидимого и горячего в глубине существа, изменчивая судьба и та



тайна, что циркулирует в каплях крови, вся эта тайна рассказывалась мне на ухо.

Мы были там, один подле другого, мы дышали в одно и то же время — возможно ли утолить себя таким счастьем—я вытянулась, я доверилась ему всем телом, то была святая и чистая полнота; нам не было надобности делать движение, чтобы чувствовать себя соединенными.

Не нужно стараться об'яснить себя иным способом ни говорить. Возможно, что, умирая, находишь выражения выше, находишь столь разыскиваемую ясность, но у живых нет иного средства, чтобы высказать себя, кроме этого сближения и соединения тел.

Я проследила до этих пор познание самой себя. Я касаюсь его. Вот: его мощная грудь, мой обнаженный живот, наши нежно слившиеся ноги, его нервное желание вокруг меня, и его дыхание на моих губах.

Не правда ли, ты хорошо чувствуешь, что отдыхаешь от существования? Не чувствуешь более этого вечного, зияющего сердца, этой безжалостной любви, которая никогда не дает пощады; просто растянуться подле тебя, чтобы вся вселенная прибежала мне навстречу, чтоб открылась тайна, чтоб утешилась жизнь... Оказывал ли вам бог когда-нибудь большую милость?

К моим задумчивым губам прижались его губы, и наши рты поцеловались зубами, языками, смеясь над скрытым притворством инстинкта, из-за которого я притворно уклонялась, упорствовала, в то время, как дрожжи вздымались в моих жилах, тянуло меня вон из самой себя и заставляло его грубо сжимать меня.

Казалось, он звал, умолял меня своим существом, так что я выгибала спину, протягивала мои груди, стрельчато устремленные к его груди, обвивала своими ногами его ноги. Ясная гармония, понимание слепое и обоюдное... То были последовательные возвращения, медлительное развертывание невидимой симфонии и попеременно растущих волн крови. И всякий раз, как одна линия соприкасалась с другой и один атом вызывал к жизни другой, это было всякий раз словно новое чудо.

В своей мудрости, в своей наконец обретенной сознательности тело, наконец, отяготело на постели; единое трепетание моих кистей, единое касание моих ладоней было более значительно, более свято, чем молитва.

Я обожала его в счастливом величии тела, и это было впервые...

Почему он разомкнул свои объятия? Это было для того, чтобы говорить со мной так же и словами, как это делают люди; и я удивилась, что находила когда-то смысл в этих колеблющихся словах, которые шевелились во тьме моих мускулов и снимали последние узы.

Это для того, чтобы взглянуть на меня своими почти незнакомыми глазами, и я спрашивала себя, как можно называть взглядом все то, что не принимает истинного очертания существа.

Кто из нас обоих был пьян? Я ли, выгнувшая руки над головой, стыдливая и гордая своей наготой, радующаяся своей красоте? Или он, с быстрой и насторожившейся кровью, следящий за моим забытием, наблюдающий фосфорические груди и подмышки, светлый щит живота и все мое тело, вытянувшееся, чтобы молить о сигнале к жизни?



Это был он? Он схватил меня еще раз, и этот раз желание почти ужасающее разрывало мои артерии, и мне кажется, что я старалась причинить ему боль, и я вонзила ногти в его тело.

Его сила превосходила мою, и тем не менее я была вся отказ, и жизнь во мне удесятерилась.

Просвет показал мне его лицо: две борозды прорылись по сторонам его рта, его жирный висок был как бы заклеен двумя синими кишками жил. И я почувствовала, закрывая глаза на эту незнакомую маску, что она мне ужасающе нравится. Безумие подуло своим красным ветром, мой зов протянулся... Тело увеличившееся, изогнутое, раскинуло свои руки крестом...

Я почувствовала его тяжесть на мне...

В миг, когда его рычание раздалось в комнате, чтобы возвестить ужасную радость, сладострастие разорвалось во мне, заставив задрожать основы мира, зажигая плоть, грохоча, как гром, рассыпаясь на волокна, проникая в кости, в голову, поднимаясь рыданиями из горла, выходя тяжелым вздохом... И ничто не может выразить ее, и любовники, которые дают ее друг другу, разделены ею, и ничто так не прекрасно, так не всеобъемлюще тоже... Она кончалась уже...

В испарении тел, которое исходило, как молитва, в остроте пота жизнь падала со своей самой высокой вершины.

На поверхности моих членов еще поднимались тонкие колебания, замирающий водоворот, и из глубины утробы—нечто подобное наслаждению или вызывающее его вновь...

Тела, пресыщенные и пустые, более не знают друг друга на взбитой кровати, разрозненные обломки целого, разбитого на двое, и его тело кажется печальным и мертвенным, как труп.

Как он спит, как он спит с запрокинутым лицом, с чертами блестящими и умасленными сном. Бессильным скачком погасла лампа, оставив могильное молчание, но лунный луч, проникнув из окна, движет зловеющий свет до самой кровати, заставляет блеснуть саван простынь, и этот яркий блеск потусторонней жизни среди могилы комнаты делает из смертного ложа словно алтарь трагический и опустошенный.

Я только что дала ему мою жизнь, мое чрево, мою глубокую сущность, потом он уснул..

Так, значит, существо никогда не знает, что дает ему другое существо?

Плотская любовь не связывает ничего, не оставляет ничего. Тем не менее кажется, что она приносит все в то красное мгновение, когда осуществляешь ее.

Она упала, та радость, которую я прежде прижимала, как добычу, к своему телу; мои губы иссякли, мои руки опустели.

Но мне сейчас казалось, что я буду жить подобно богу. И уже прекрасно питать такую надежду хоть миг один.

\* \*  
\*

«Ты действительно хочешь знать, что я думаю? И почему у меня такой упрямый вид и я сдвигаю брови, как черную крышу, над глазами?



Я следила внутренно за одной из тех мыслей, которые кажутся безумными, едва осмелишься выразить их, и которые в то же время так благоразумны, так логичны.

Почему ты настаиваешь, чтобы я выдала ее? Я уверяю тебя, что она так проста, что тебе, мужчине, ее не понять...

Вот она: я думала о твоей жене... Нет, не прерывай меня... об этой женщине, которая разделяет с тобой твоё имя и твой дом, твой обед, заработанные тобою деньги, твои заботы, и которая живет подле тебя — тем не менее это-то и есть единственное оскорбление — в чудовищном неведении любви, которая одушевляет тебя.

Я представляла себе — тут-то и начинается бред — нашу встречу. Не обыкновенную встречу с принужденной улыбкой, а встречу лицом к лицу двух существ в том, что существует драматичного и божественного. Сделай усилие, выслушай меня. И те подробности, которые я в отдельности даю тебе, собери их так, как они в действительности. Окружи эту сверхъестественную беседу естественной рамкой наших скромных дней, таких обычных, таких тусклых. Говорю тебе: мысль безумная.

Я прихожу. Свидание происходит у неё, среди ее привычек, ее мебели, в знакомой обстановке, где все помогает ей и все защищает ее. Она сидит у окна, ее маленькая табуретка, ее рабочая корзинка, двадцать разбросанных вещей — и она шьет, не думая ни о чем особенном, в пылающем свете дня, когда не различаешь более качания маятника. Она склоняет голову, солнце завивает ей затылок, чувствуется, что мысль ее на нитке ее работы, то-есть выкристаллизована в мирное

спокойствие во вне; ее примиренное тело подчинено заранее готовящемуся посещению, и ей стоит лишь поднять глаза, чтобы узнать пределы и даже границу всего, что ее ожидает.

Я вхожу. Я иду к ней. Мои шаги образуют вокруг меня шумную охрану, и чтобы дать себя увидеть, я должна возвысить голос... Как заставить услышать себя? Я не знаю... Ибо истина торжественна, и возвешение о ней будет таким же, оно начертано вокруг меня: «Я люблю его», и прежде всего, и прежде чем я возьму ее за руки, может быть, ранее самого первого взгляда.

Она знает, она знает все; и я чувствую себя омытой великой благодарностью. Подумай только, что она единственная в мире, которая знает до самого сердца, что заключают в себе слова, если они говорят о тебе: это все равно, как если бы я говорила богу.

Тогда я не удерживаюсь более, я делюсь, смеюсь и плача, тем, что не может быть делимо, и вот я спешу, и фразы, изливаясь, согревают меня своим щедрым вином, и я, в свою очередь, слышу разливающуюся любовь.

Я вижу самое себя: почти коленопреклоненная, едва различающая ее. К ней ли я обращаюсь? Я просто говорю, чтобы уничтожить перегородку, заслоняющую мне свет, и чтобы сказать то, что истинно.

В задыхающихся словах, которые я проливаю к ее ногам, может быть, нет вопроса ни о ней, ни обо мне; зачем спрашивать об этом? Я никогда не думала, что я виновата перед ней. Если она может читать в моем лице, она увидит вещи такими, как они есть. Разве я похитила что-нибудь, разве я уменьшила ее долю, разве я отняла что-нибудь? Я только все отдала тебе.



Не отвечай, что она могла бы меня оттолкнуть и что она была бы права, что прежде всего это! было бы человеческим. По вашему, человечно все то, что обманывает себя, все, что отрицает подлинное милосердие, все то, что падает и умирает в дорожной грязи. Уверен ли ты, что, любя, женщина не чувствует смерти этого человеческого?

Ты глядишь на меня сомневающимися глазами. Ты, разумеется, не можешь знать. Вы все, вы терпите, чтобы две женщины берегли в полном согласии прах воспоминания о мертвеце; могила успокаивает вас, но жизнь не может быть дозволенным предлогом; наше братство имеет право быть заключенным только, когда уже слишком поздно.

В моей безошибочной и роковой искренности я говорю, что эта женщина поймет. Нельзя безнаказанно слушать истину, стучащуюся вам в уши. Ах, я буду жива не безнаказанно, как в этот миг, с этим красноречием, с этим колдовством, которое исходит из реального существования. Смотри на меня: есть ли у меня хоть одно слово? Великая любовь в поднятых глазах:—разве это не убедительно?

Когда ты мне говоришь порой, что я хороша, это—как поднесенный мне подарок, который я ношу на себе; она увидит это и, если она услышит при моем приближении жалобу и увядание своих сорока лет, она поймет также, что годы женщины это грех, который любовь не может искупить.

Ты стараешься представить себе, к чему привело бы нас сделанное мною усилие. Не старайся, оно привело бы меня только близко к истине, а ее только на ее вер-

шину. Мне казалось, что этого достаточно и можно бы остановиться на этом.

Я представляла себе, как, не сделав ни одного шага, но прямая и решительная, с упавшей к ее ногам работой, она почувствует, как растапливается мораль света, почувствует ее ложные бездны и ее вершины, ее чудовищную благопристойность, все, что составляет ее вооружение и побуждает ее защищаться... Тогда, почувствовав свое сердце на свободе, она подумает о тебе, но о тебе освобожденном от твоего телесного облика, о твоём существе, скрытом там, куда ни она, ни я не сможем проникнуть. Потом она приблизится—будет ли она знать к чему? это всего лишь глубокий закон, безнадежно стараться приблизиться к чему-нибудь; она вновь найдет слепительные мгновения, когда своей силой двадцати лет она повелевала покорной вселенной, чтоб все творилось на благо тебе. Подобное мгновение вложила я, как свое, в ее раскинутые руки; как ты не видишь этого?

Комната играет всеми своими гранями и всем своим солнцем; свет манит к свету и порхает вокруг нее. Разве мы соперницы? Мы просто сестры той же любви; мне хочется сложить руки; вспоминая, что некогда ты избрал ее...

Тогда...

Но твое изумленное лицо омрачает помимо меня мою мысль. Не рассказанная тебе, заключенная в стенах моего лба, она бросала, уверяю тебя, свет факела. Ты спросил меня, и теперь она не более, чем блуждающий огонек, обманчивый и беглый, который дразнит меня издали и потухает, когда я приближаюсь. Не говорила



ли я тебе, что это одна из таких мыслей, к которым не следует прикасаться?

Я чуть приласкала немного истины в моих сложенных руках. Она ускользнула от меня... А ты облегченно улыбаешься».

\* \* \*

Мы уж дважды сказали себе, что расстанемся на повороте дороги. Мы расстались на повороте дороги; у этого дерева, как раз у этого дерева, и дважды мы перешли предел, вместе смеясь над нашей общей слабостью, еще не доверяя совсем близкой разлуке.

На этот раз час приближался.

«Это будет там, у дома, спрятанного в зелени. Ты уйдешь, я не пойду дальше. Это будет там»...

Он сжал мою руку с возрастающей нежностью; мой смех бросал нам вызов с такой уверенностью, что я пыталась ему поверить: и чтобы заполнить пустоту, мы говорили друг другу шумные вещи, бесполезные, непоследовательные; как те, которые расстаются надолго.

Это было незадолго до полудня. Солнце поражало землю тьмою в виде черных клинков, которые горели и дымились синими волнами. Между деревьев, ибо лес окаймлял море, жидкая чешуя слепила взгляды и надолго тревожила их краснеющими пятнами.

Я сказала себе: «Еще эти несколько шагов, и все будет кончено. Еще одним шагом меньше, еще вырывающаяся минута»... И скорей, чтобы не волноваться, я говорила о другом.

Утром должно быть шел дождик: когда я задевала ветку, то молчание падало к моим ногам, с прозрачным

и сухим шумом водяных капель, листва меняла кожу, и воздух, пропитанный свежестью, показывал вам ту улыбку, которой улыбается природа, чтобы оживить слезы. Глубина леса окутывалась синим пущком, который блестел местами; толпа маленьких елок, присевших на корточки, касаясь юбками земли, плела своими иголками бриллиантовый перезвон.

Мы так дружно спасались от ожидавшей нас тоски, что шли слишком скоро. Вилла росла, обнаруживая свои ставни, как безжалостно закрытые глаза, острые зубы своей, окрашенной в серое, ограды, угрожающие подробности сада, что растекся по косматому склону, покрытому шишками, словно череп. Что за беда! Долгой разлуки не может быть между нами, а ради маленькой, ради того, чтобы испытать силу любви, я готова бежать.

Вот здесь. Вблизи, в своей шляпе из красной черепицы, с челом, обвеваемым двумя крошечными елочками, с этим шероховатым лицом, как незначителен он, этот маленький домик, что заграждает нам наш свободный бег...

Надо! К чему медлить? Разве грустно расстаться, если каждый уносит с собою другого. Ибо я уношу твой голос, и облако твоих глаз, и этот поцелуй, который я даю тебе. Я не покидаю тебя; у меня нет даже сожаления, видишь, я ухожу первая...

Я вырвала мои первые шаги, и они были звучны перед моими глазами, и каждая крупинка красной земли, и каждая молния слюды, вкрапленной в дорогу; я собирала эти события его ухода и держала их, прижав к сердцу. Это не было так трудно...



Его более грузный, более шереховатый шаг углублялся позади меня с грохотом камня, спускающегося по склону горы... Два месяца... Что такое разлука на два месяца?.. Я решила не оборачиваться.

Дорога суживалась, становилась глиняной змеей, потом шнурком из мха, и я так старалась утвердить на ней все мое внимание, что я в изобилии замечала захватывающие вещи, которых мы не видели, когда шли в противоположном направлении: дерево, что спускается на конце самой длинной ветки тяжелый черный шар, который набили землей птицы небесные, и где растет трава и вьет свое гнездо... и на склоне скатерть живых растений, которая словно сделана из омоченных в крови пальцев...

Это я против воли сделала полный оборот: там, в двух шагах от последнего поворота, где дорога искривляется в судороге, почерневший силуэт...

А он обернулся: значит, он услышал меня. Разве мы можем быть розно? И я протягиваю ему руки и бросаюсь бежать. И почему же мы сейчас говорили другое? мы были безумны?

Я уже миновала мертвую агаву, я приближаюсь к вилле, к ее кругообразным челюстям и двум елкам; мой спотыкающийся шаг заставляет задыхаться мое решение никогда не покидать его; я поднимаю глаза: так он не видел меня?...

... Его облик теперь еще меньше, это всего лишь черная точка, что грызет дорогу и, слепое насекомое, углубляется в пещеру земли... Последний шаг: конечно, конечно...

Мои руки опустились, и я возвращаюсь, спотыкаясь, по направлению к дороге, охваченная головокружением. Невозможно знать, что такое дорога, где солнце имеет цвет траура, где лето имеет вкус слез... Так он не знает этого?

Полдень. Синий благовест бросает солнцу двенадцать бронзовых ударов, которые медленно тают. Но я нечувствительна ко всему. Ко всему. Толпа деревьев и искристая броня моря движутся вокруг пустоты.

Для чего это небо, натянутое на ветках в виде жирандолей, для чего эта искрящаяся веселость, для чего эта дремота земли, если я слышу, как в меня в'едается, клейменое каленым железом, то, что я не сказала вовремя?..



## СТАТЬ

Я считала дни, чтобы дать имя—каждое утро новое имя—этому дню, который все не наступал. Проститься на два месяца, прожить так долго в разлуке, почти не имея известий, и наконец ласкать, даже на расстоянии часа, как простирают руки к пламени, огненную минуту, возвращающую одного другому.

Я приготовила мой дом, убрала цветами мои вазы, я нарядилась и надела свое бархатное платье; оно так заглушает свет, что принуждает его просвечивать из-под лица, точно ореол наоборот.

Час близился. Он пробил. Но нет, часы, конечно, спешили. Чередующиеся секунды разили молчание.

Я пошла к окну; вернувшись в комнату, я, по счастью, нашла еще одну возможность навести порядок: круглый столик, наполовину опрокинутый в углу... и букет, запутанный в листве, и эту прядь, бегущую по моей щеке. Нет, он не приходил... Ожидание—это возобновляющаяся смерть.

Наконец!!..

Так я могла дышать до этих пор? Ты! Он приближался, несколько смущенный и почти чуждый. Тогда я

вспомнила, что он мало знал мой дом, и меня охватил страх, что он не понравится ему.

Но скачок кидает меня к нему, моя голова на его плече, и его руки обвивают меня. Я все забыла: «приди, приди, я счастлива». Мы унесены в мою маленькую комнату, где согретые цветы, разрывая полумрак, широко разверзали свои обманчивые сердца.

Но как он изменился, и лицо его похудело... почему такой туманный лоб, такая подавленность, такие чуждые плечи... Что случилось? Что случилось?

Мы еще только смешивали вопросы, неловкие и вырывавшиеся случайно, но я почувствовала внезапно, что наши сердца перестали биться одновременно. Пусть говорит. Пусть я узнаю. Нет ничего хуже неведения.

«Вот...» — Он опустил голову на руки. Он чересчур страдал от этой разлуки; он все еще видит ее, вступив в этот дом, где все лишает его власти: он больше не может жить без меня, так далеко, так розно: ему нужно все мое время, все дни и все минуты. Он понимает все сумасбродство, заключающееся в его мольбе, но существует не только благоразумие... «Слушай, есть еще инстинкт. Инстинкт сильнее, разве ты не понимаешь... вот... я тебе все сказал... это все...».

Он продолжал, и уже другие слова наполняли ему рот, дышащие смертоносной бурей, в то время, как ледяная ясность, ужасное спокойствие всходило во мне. Молчание и страх пронизывали меня до костей. Что можно ответить тому, кто внезапно заговорил на другом языке? У меня были только наши слова...

— Отвечай мне, прошу тебя, пусть это будет нет, но ответь, по крайней мере...



Так, значит, нужно начать снова все высказывать и все объяснять? До этой минуты меня поддерживала могучая река, глубокое течение которой следовало за мной; и вот страшный поток с силой ворвался в нее, изливая свои мутные воды, свою адскую пену; мне приходилось идти против течения и сделать безнадежное усилие на жизнь и смерть.

Неужели узы плоти так ничтожны, что вместо того, чтобы связывать вас, они раз'единяют друг от друга; оставляют вас отбиваться, как каждый умеет, парализуя члены, как те травы на дне, что обвиваются вокруг вас...

Неужели узы души так недостаточны, что у них всегда не хватает одного звена, всегда одного слова, всегда одного взгляда?

Если бы эта мысль не возникла во мне из полной гармонии, которую я все же нашла с другим существом,—с другим,—я бы усомнилась. Господи, я бы усомнилась, что мужчина и женщина могут когда-нибудь полюбить друг друга, то есть когда-нибудь друг друга понять.

Это была та мысль, которая вдохнула в меня высшую твердость: некая волна коснулась моих уст и моих ушей; смелым толчком я оттолкнула его.

«Его жена. Прежде всего она...» И нежность ее образа заставляла меня нежно говорить о ней.

Итак, из-за того, что он встретил меня, он мог бы бросить двадцать лет совместных дней, ласковых забот и привычек, двадцать лет, вкоренившихся так глубоко. Эта женщина была нежной, хрупкой, она была прекрасной, и ей почти сорок лет; для женщины это значит более не иметь возраста... значит, мое существование

послужило бы для того, чтобы уязвить другое? И я, вносящая столько усердия, столько стремления к тому, что прекрасно, справедливо и горячо, я сделала бы это!

«Любя тебя, я хотела, чтобы все было совершенное, яснее и легче вокруг тебя, и в миг, когда я думала с таким упоением, что достигла этого, ты приходишь просить меня заслонить внезапно свет от человеческого существа. Ибо это, в сущности, есть то, что ты у меня просишь.

Это даже не все. Тот человек, во имя которого я построила мой дом... нет, не бойся, что я опасюсь его страданий, я достаточно люблю его, чтобы превзойти ту жалость, которую испытывает одно существо к другому. Но мне казалось, что я говорила тебе: этот человек необходим для моего сияния, ты понимаешь: необходим... Подумай, что он тот, кому я сказала правду, с кем я могла жить, вынося твое присутствие, который страдал, не уменьшая своей любви ко мне, который предпочитает мою радость радости своего сердца. Да, он существует, и ты хотел бы лишить меня его...

И если бы еще для того, чтобы удалить меня от него, ты представил бы мне довод, превосходящий его самого, более совершенное средство возвысить себя и *знать*, я ушла бы без страха, без колебаний, любовь есть только то, что возвышает жизнь... но ты, что предлагаешь ты? чувство, инстинкт. Инстинкт не довод...»

Говоря, я встала, щеки и лоб у меня пылали, и его лицо, окутанное снежным светом занавеса, совершенно переменялось. Разве это был тот же взгляд или складка рта?



«Так, значит, ты меня не любишь...» Он повторял это, как ребенок, упирая на слова и снова пряча голову в ладони.

Если свет падал вокруг меня серым флером, то, должно быть, это было преходящим, и любовь не может сразу покинуть человека.

Время текло теперь бесполезно, и когда оно стало стеснять нас, он поднялся, в свою очередь; он сжал руками мои плечи и мрачно оглядел меня, как оглядывает прохожий, потом он ушел. Я слышала, как медленно закрылась дверь.

Значит, он не понимает. Но у меня к нему истинная любовь, а не это нестойкое влечение, что страсть уносит, как порыв ветра. Тожественная с моей жизнью, моя любовь требует от меня всех побед, одержанных мною, всех тех, кого я люблю, всех, и мой взгляд приемлет тоже, что может, от неба и красок... И ничто не воспрещает мне дышать всю жизнь; почему же мне воспрещают любить все, что я люблю?

...Моя любовь, ты победишь, ты заставишь понять себя. Ты не этот человек, что уходит, ни другой, ни третий, ты лишь сердце, открытое, телесное, сердце без границ и без отдыха, сердце, всегда бьющееся и всегда беспредметное. Не позволяй, чтобы хотя единое присутствие осыпалось и отделилось. Если не можешь убедить любовь, то на что же тогда надеяться?

И я побежала за ним вдогонку...

\* \* \*

Тем не менее он не далек, этот первый день войны; всего лишь несколько месяцев прошло над ним, но я неспособна отыскать в моей памяти малейшую его черту.

Я знаю только то, что он до конца будет кульминационным днем моей жизни, днем из всех дней. Что бы ни случилось, мы, пережившие его, мы выпили одним глотком весь осадок веков; мы приняли на наши плечи всю небесную молнию, и те, кто вопрошает себя, но почему же мы, почему именно мы, они ведь не знают, что несчастье всегда поражает тех, кто по плечу ему.

Я не говорю о старших, о тех, что *другого* поколения, о тех, что другого возраста:—эти были нетронуты.

Но мы, мы в этот день...

Мне удастся восстановить кой-какие картины, кой-какие слова, но они не более способны вызвать воспоминание, чем подробности, которые давали мне о моем дне рождения: «Ты была похожа на маленькую рыжую обезьянку, ты очень мало кричала, твоя бабушка первая поцеловала тебя, в этот вечер была удушливая жара».

Да... так же я восстанавливаю серое каменное лицо господина Барре, когда он, огромный и статуеобразный, вошел в контору, где наши разговоры обретали вновь надежду: «Готово!» крикнул он с порога в упор. Никто, казалось, не понял: «Опубликовано!», прокричал он. Он двинулся, словно опускающаяся палица.

Как загорается хлебное поле, колос за колосом и потом все зараз, мы все пылали в недоумении, каждый, пригвожденный к земле своим пламенем.

Пожар. Пожар. Багровые секунды, готовое оборваться дыхание, душа, с'ежившаяся в груди, ужас, которого уже более не желаешь, глаза, широко раскрытые на неуловимое...

Я вспоминаю, что мне пришлось схватиться за стену: другие мелкие детали вспоминаются мне тоже, но не



приводят мне более ни моей растерянности, ни моей слабости, ни всего безумия, встряхнутого над миром, как нельзя вспомнить, какой вкус имеют первые глотки жизни.

Я сохранила, конечно, подобие ясности, и должно быть у меня были ноги для ходьбы, потому что я сейчас же побежала домой... Что за улица, что за ад, где я была?.. Я ничего не различала, — ни окружающего, ни ошеломления, толкавшего меня, ни того резкого ветра, что затыкал мне уши и танцевал свою тяжелую сарабанду у меня в голове.

Я вспоминаю еще, что мы встретились оба у дома, еще хранившего в своих спокойных стенах наше супружеское счастье. Проходя под воротами — животные, влекомые на бойню — мы были медленны, грузны, пассивны, и у лестницы были ступени Голгофы. Не думаю, чтобы мы обменялись хоть одним словом; когда дверь замкнулась, мы обнялись, но не целуя друг друга, и моя щека на его плече позволяла течь слезе, выплаканной не мною.

У меня была мысль, что он пойдет; конечно, она явилась у меня сейчас же, но она была в ту же минуту растерзана, как все остальное, и нельзя сказать, чтобы именно она заставила меня больше всего страдать, потому что я отупела и не могла страдать. Я могла бы расхохотаться и так же точно могла бы растерзать себе руки; я двигалась толчками, шевелилась, как скала, сброшенная в пустоту. Касаясь его, я возвращала едва-едва все, что должна была потерять...

Последующие дни вырвались из вулкана. Они все только зола. Вы выучивались новым словам, целое внезапное наречие вырастало у вас на языке, и страны ста-

новились живыми существами, с характером, движением, лицом, и люди в действительности насыщались тем, что было написано в газетах, как черными тонкими злаками, которые казались манной; человечество считало только мужчин, ничего кроме мужчин: им жизнь и судьба мира, и все жонглировали при помощи цифр мертвыми отвлеченностями и осваивались со *смертью*. Человеческая божественность была на последнем месте, и ничто не было менее значительно, чем она.

Начали говорить о славе...

Настал день, его отъезд.

Я хотела уложить его вещи, как я делала это накануне его поездок, со списком в руках, увлеченная, как в былые времена, своей манией брать с собой слишком много вещей. В его чемодан, наполненный необходимым, я тайно сунула маленький флакончик моих духов, портсигар, купленный ко дню его последнего рождения, сухие цветы, портрет ребенка: когда он развернет белье, портрет выпадет, — я ребячески воображала себе его удивление и его восклицание...

Прежде чем покинуть дом, он, почти неузнаваемый в своей солдатской шинели, дико обнял своего сына, прижимая его долгими движениями и наклоняясь, чтобы скрыть от меня слезы. В дороге он говорил мне, главным образом, о ребенке; успокоительные размышления, обычные страхи. «Лишь бы он не очень огорчал тебя... Будь строгой, знаешь». Но я понимала, что он поручает мне свое преемство и что, быть может, лучше нам обоим отворачиваться от разлуки, которая ведет к смерти.



Полки, бьющие отовсюду ключом, стада с невинными взглядами, с гордыми лицами, дети, братья, любовники, преobraженные в статуи людей, окруженные медью, восклицаниями, бряцанием, красным золотом, шумом железа и сапог...

И если бы еще весь ад был тут целиком! Но был другой, мой бедный другой, уже шесть дней как ушедший, без моего прощального привета...

И был последний поцелуй, точная и вещественная секунда, когда действительно расстаются, когда действительно образуется метр расстояния между вами обоими; вы были два слившихся тела, и вы становитесь одним единственным телом, потом—две руки... душа замкнутая, как свинцовый гроб.

Были жалкие мгновения, когда призываешь на помощь все иллюзии: «с ним, с ним ничего не может случиться, с ним! полно, с ним-то»...

Я возвращалась, влача свое горе, как веревку, смешавшись с толпой, что грызла землю, как язва, и которую мрачная и безумная рука мяла и толкала... это была небывалая толпа.

Я, женщина, чувствовала себя вне ее, совершенно так же, как в первый день я почувствовала в себе человечество, разбитое на двое, мужчины с одной стороны и женщины—с другой.

Бессильная, застывшая, отодвинутая в сторону, я проходила так, как проходим мы, женщины, перед молодыми людьми, которым оставалось лишь несколько дней жизни и которые тем не менее имели вид, как будто они проживут долго; перед этими людьми, которым поручено

было умереть; перед другими женщинами, бесполезным мясом земли, трусливым мясом горести.

Я шла. В противоположном направлении была толпа, эта самка, что шла, шла без счета, со своей пляской вакханки и своим кваканьем, своим ужасным смехом гиены, своей липкой одеждой, запахом красной крови и тяжелого вина и своим послушанием...

Самой себя не было видно, ибо в нее вступаешь, как внутрь живого чрева. Не было видно больше себя самой.

Где вы были, мои сестры оттуда, отовсюду, все женщины Европы и вы, Труда, и Клара, и Маня, и вы, и вы... Что делали вы, что оплакивали вы?

Вы ясно видели над вашими головами—не правда ли—это кровоточащее небо, исчерченное черными знаками, что раздваивались на концах, и пред вами было тоже замершее лето, вы ясно видели, не правда ли, тот же день... Но почему же молчали ваши голоса в единодушном убийстве?

И ты, скажи, ты, у которого крики в горле, слезы в теле, скажи, где был твой голос?

\* \* \*

Я ужасающе привыкаю ходить в одиночестве по пустой квартире; я кончаю тем, что не думаю больше о нахмуренных стенах, о немом молчании, о потухших окнах; все вещи окутывают меня смутным согласием, и я вновь ощущаю на моих плечах ужасную власть привычки.

Мне кажется, что я скольжу по склону, внизу которого никто не ожидает меня; никого, чтобы предупре-



дить меня о том, что там, может быть, бездна, никого, чтобы сказать мне, куда ведет это столь новое существование.

Мои дни налажены согласно законам, созданным мною самой и которые отягощают только меня; я выхожу и возвращаюсь, я поворачиваю в замке ключ, я слоняюсь, потом я галопом принимаюсь за обязанности; иной раз, зеркало высекает внезапный образ, который бежит мне навстречу и, озабоченный, исчезает, и никогда я не слышу другого эхо, кроме моей тени или глухого хруста, что следует за мной по пятам.

Я, однако, жила уже раньше сама с собой. В комнате было покрывало с цветами, изъеденный молью ковер, дверь, разошедшаяся от ветхости, отворялась на темно-красный парик и багряную улыбку госпожи Ноель, как крышка ящика с сюрпризами. Но все было так непохоже... Я вносила в это девственное пространство только желание наполнить его, мое тело ничего не знало, мое внутреннее существо призывало слишком много вещей, чтобы иметь возможность удержать хоть одну, и если бы я смела, то, приближаясь к окну, я протянула бы руки, чтобы обнять воздух жизни...

Мое теперешнее одиночество, подобно плоду с грустной мякотью и горьким вкусом, который заставляет бродить во внутренностях золотистый пламень ликера; это — странное одиночество.

Два человека населяли мою жизнь, они сделали ее плодородной, они оживили ее. Не было ли это слишком давно? Не было ли это не здесь? Ну-ка, припомни...

Неизвестно, они ни мертвы, ни живы. Правда, что они терпят голод и холод, что они скучают, как живые,

которым скучно, но они заперты в глубь земли, как погребаются настоящие мертвецы; и может быть, что как раз в этот миг, когда я представляю себе их теплых и движущихся, они уже недвижны и холодны. И по существу надо сказать, что больше нет почти ничего общего между ними, ушедшими, и мной, оставшейся.

Иногда, когда я совершенно одна, я склоняюсь; я склоняюсь, чтобы коснуться глубины вещей, словно для того, чтобы испытать боль, которую это причиняет.

Да, между нами существуют письма, и вот я пробую представить себе обстановку, где они находятся, грубые черты их истории: здесь Аргонские ели, имена целого отряда, которые я знаю наизусть, как неведомую молитву, ноги, горящие от холода, вечный гром и прибытие вахмистра, который несколько сближает нас. Дальше,—но для меня это одно и то же место—Каранси, стрелки... Атака, первый ряд скошен, второй, третий; он один стоит впереди четвертого, длящийся целый век шквал, взволнованное успокоение и мой портрет, совсем теплый под голубой фуфайкой. И тот вечер на прошлой неделе, когда он испытывал смертельную жажду, когда он вышел, не в силах более терпеть, и полз по раскинувшейся долине и, наконец, нашел ощупью волшебное озеро—пить! — наполняя и осушая манерку, выплевывая густые волокна, которые свешивались у него изо рта: куски мозга... лужа, утолившая его жажду, была человеческая кровь.

Почти каждое утро я получаю письмо... Конверт горит в моих пальцах, появляется бумага, иссеченная строчками, которые имеют притязание говорить с вами, сообщать вам нечто, словно бы мне было неизвестно, что



я перед ним, перед ним, как перед стеклом: вот, видишь его? но мое лицо, приближаясь, покрывает стекло туманом, и никогда, никогда нельзя ничего разглядеть...

Я пишу им перед сном, и подробности моего дня, в который тем не менее ничего не происходит, нагромождаются мною в кучу: незначительные случаи, происшедшие в конторе, завтраки в ресторане среди криков и омерзительного дыма, покинутый вид дома, новости о ребенке, которому свежий деревенский воздух пошел на пользу; и моя послеобеденная работа, ради того, чтобы заработать немного больше денег; всегда находится анекдот, который можно рассказать... Полночь бьет, разрывая металлический мрак... Иной раз, когда я складываю письмо, впечатление, будто я говорю о другой.

Тем не менее их мысль, это навязчивая идея; это красная точка, вокруг которой я разворачиваюсь и вращаюсь и прибавляю себя к самой себе.

И также порой, когда мои глаза закрыты, странные мысли одолевают меня, странный и мохнатый полет летучих мышей—и я говорю себе: «Сколько их в эту ночь, мечущихся в скупой жаре своих постелей, потерянных, распятых меж своих пустых рук, и тем не менее, да, тем не менее выросших и довольных, и уже свободных своей горькой свободой».

Женщины без мужей, женщины без любовников, их много в эту ночь, удивляющихся, вытягивающихся, потом облокачивающихся на подушку... они не знают еще, они ничего не подозревают... но они не спят, они не могут спать, так удивительно, что женщина может жить совсем одна, вытянуться одна на своей постели и, тем не менее,



дышать; может быть, самое тесное единение, в конце концов, тюрьма.

Под конец я засыпаю. И утром, в лысом и дрожащем подусвете, я повторяю все мои жесты вчерашнего дня, жесты несколько зябкие, ибо привычка обволакивает грязью колеса машины, и эта всегда моя серая привычка ведет меня по слепой дороге к конторе.

На повороте улицы, там, где трещит горячий уголёк торговца каштанами, закутанный паром, разве я не проходила здесь два месяца назад с отчаянием в сердце? Письмо, сложенное в глубине моего корсажа, говорило о вечерней атаке и о возможной смерти; это было краткое и душу раздирающее прощание. В большей ли он безопасности нынче утром? меньше ли ему холодно? меньше ли голодно? Теперь я проходила по тому же месту с цепкой заботой не опоздать; я думала всю дорогу о моем платье, о моей зимней шляпе...

Так привыкают к мученичеству других.

Если это плоть вашей плоти претерпевает мученичество, если это человек, которого вы любите — ах, не говорите нет—вы *привыкнете* тоже. В страдании никого нельзя заменить, и боль не разделяется, это неправда. Первый день вводит в заблуждение, ибо горе бросается в голову, но другие дни, все другие?

Почему не иметь храбрости грубо взглянуть на грубую действительность? Нет неразлучных существ, нет неразлучных пар, нет.

Он там, они там, бичуемые нищетой, опасностью, вшами, а я, нетронута и жива, касаюсь этой большой стены, заплатанной трехцветными афишами: «Женщина... благородная роль... благородная задача... заслуги»...



Заслуги? Какие?—Я работаю, разве это не естественно? Он страдает, он умрет?—Разве я не видела пробуждения моих спящих сил, и, если он все дал, не я ли все взяла?

Без пяти девять. Ускоряя шаги, я подняла воротник моего пальто в то время, как мои руки зябко соединяются в нежной плюшевой муфте.

С конца улицы бежит мучнистое облако, разметая перед собой, как сухие листья, горсть прохожих: женщины с распущенными юбками, свистящая гроздь мальчишек с посиневшими губами, в звонких чоботах, старый человек в роде рождественского деда, с инеем на пучках бороды.

Они ушли. И даже если они вернутся, они всетаки ушли, и в этом все. Некогда было мгновение, когда они стерлись с лица земли, когда жизнь пошла бы без них, жила без них, когда женщины действительно *продолжали* без них.

\* \*  
\*

Тип влюбленного молодого человека. Хорошо сложен. В общем довольно красив, но без изящества, и его молодость вооружена скромными претензиями. Я всегда избегала с ним говорить. Понадобился сегодня этот нелепый предлог, чтобы мы пошли рядом. Я старательно пыталась говорить о чем-нибудь *другом*, и как только разговор принимал определенное направление, я круто поворачивала его в противоположную сторону. Он, в сто раз искуснее меня и, конечно, более настойчивый, тяжело возвращал разговор к теме, которая его интересовала.

Вечная комедия мужчины. Те же слова—кто скажет им, что у них всегда те же слова?—чтобы прийти к

той же цели. Он все время пробовал, хитрый и неловкий, искоса поглядывая на меня, и когда он видел, что я ускользаю от него, он признался, ржавым голосом, опустив нос в землю, с покрасневшими ушами, бросив свои кости, рискуя сердцем.

До сих пор он казался мне фатом и почти смешным в своем мелком лукавстве. Он облагородился, он был словно святой, прозрачный и умоляющий, и все его тело приобрело величие. Как он трепетал, бедный ребенок!

Когда мой ответ был высказан ему — женщина находит столько убедительности и нежности, когда она не любит: — «Простите меня, сказал он, я вас оскорбил...»

Я следила за ним, когда он уходил, с согнутой спиной, униженный, конечно, но тем не менее омытый надеждой, которая поднимается вокруг слов, когда их посмели высказать.

Простить его? Словно женщина когда-нибудь сердится на огромный дар, который ей приносят, словно хоть единая из нас остается нечувствительной, словно в миг, когда высказана любовь, не устанавливается таинственная и прочная близость.

Я вспоминаю о всех мужчинах, которые любили меня. Каждый думает, что открыл вас, каждый протягивает вам вашу тайну. Каждый в действительности открывает вас и каждый заключает вас немного в свои объятия.

И я буду вспоминать об этом, о лоскуте муарового неба, которое разрезали крест-накрест две улицы, и о бормотании этого рта, молодость которого требовала отчета от моей молодости и действительно тронула ее.



У меня было ощущение смерти.

Не самого мига смерти, ибо это еще часть жизни, но первого мгновения, которое следует за смертью. О том, что умирает, ничего не известно; известно только то, что остается...

Я дошла до конца мола, до места, в которое, не переставая, бьет жидкий и равномерный шум; я поместилась так, чтобы против меня было открытое море, а сбоку зеленые изгибы берега, где ели бегом спускаются вниз, чтобы удержать светлый песок, подрубленный белой пеной. Над моей головой двигалось небо.

Это было воскресное утро. Старая церковь, зарывшаяся в самой глубине острова, раскачивала свои колокола; их голоса, пересекавшие море, были музыкой, ниспосылаемой с облаков и поголубевшей от воды.

Слышно было, как расточало себя это сверхъестественное и божественное бронзовое сердце; при каждом ударе взгляд готовился увидеть разделяющееся на двое пространство.

На море не было волн, оно было ровное и гладкое на далекое расстояние, щедро изборозженное полосами масла, извилистыми и темными, которые казались дорогами, проведенными уверенным пальцем бога.

Я видела, опустив глаза, как пересекаются на жидкой равнине, пестрят и разбегаются целые сети световых петель. Они чеканили воду, спаивали и сплетали цепь, гранили ее, искрились на ее поверхности огнями драгоценных камней, притягивали в ее глубину радугу,

утвержденную на мириадах арок, и бесконечно умирали и возрождались.

Это было приковывающее занятие следить за ними. Единственным отвлечением было следить сквозь кристалл стаю мелких рыбок, легче, чем рой насекомых, которые, струясь под сводами, пестрели оранжевым и лиловым и сейчас же таяли; тогда вас охватывало желание удержать одну из водяных клеточек—только одну—но едва схватить ее, словно вкroppив в нее глаз, сейчас же замечаешь, что это не та.

Солнце было столь жгучим, что было почти невозможно поднять голову; большой луч падал отвесно в твердую влагу, разрезая ее слепящим клинком, который связывал низ мола с низом горизонта.

Схваченное между золотистой жарой, что потоками изливало небо, и свежестью, испаряемой водою в движении, мое тело утрачивало свой вес, свою форму, чувство равновесия; и если оно сохраняло дыхание, то теряло впечатление этого. Мои ноги были бесчувственными, затылок пылал, у меня оставалось души и взгляда только для недвижной и меняющейся мозаики, которая тысячу раз улыбалась на поверхности неба.

... То была только молния: существо, глаза, тело, воспоминания, все было так, словно, открываясь, уничтожаясь, они тоже ныряли в свет.

В самом деле, была секунда, когда я прекратилась: мое узкое существование подверглось краткому затмению. Я больше не была кем-то, упрямо возвышающимся перед бесконечностью, чтобы измерить в ней свои пределы, слишком маленьким существом, которое хочет присоеди-



ниться к природе; я была—огромное и разлитое повсюду осознание океана солнца и неба.

Вот там, меж поющим эфиром и водой в серебре, мне показалось, что я предчувствую мое небытие, ибо в миг, когда мое сознание покинуло меня, в миг, когда я перестала существовать, сверкающие глаза моря еще меняли цвета, синие дороги разворачивались, сверкающая трещина топила всю ту же линию, лазурь продолжала свое неуклонное шествие: Все продолжалось позади меня...

\* \* \*

Только одни женщины...

Увы, ни одной хорошенькой... Раз, два, три, четыре, десять, двадцать, сто... их добрых двести... Ни одной...

Правда, что этот дрожащий огарок обесцвечивает лица и собирает тень вокруг черт лица в твердую грязь. Но на них такой угрюмый отпечаток, что можно сказать, это сборище вдов. Там эти двое мужчин, сидящие отдельно на поперечной скамье, как два благоразумных ребенка, которых только что наказали; они бедны и неуклюжи, но по их виду не кажется, что они это сделали нарочно.

Какое я испытываю нетерпение! Женщина, говорящая другим женщинам... Что она скажет нам? Просветятся ли они?

С места, где я поместилась, спиной к экстрате, лицом к двери, чтобы легче стеречь Еву и показать, что ей занят стул рядом с моим, увы! есть чем насытить беспощадный взгляд.

Взгляд едва выдерживает невозделанное поле этих голов, окрашенных в тускло-желтое. Повернуть глаза, значит упереться в заплесневелые стены, которые ободраны неведомыми руками, с оставшимися висеть обрывками: это значит приклеиться к жирным пятнам на потерявшем цвет паркете, это открыть слух визгливому кудахтанью, которое ширится и пронзает воздух.

Вот Ева! Наконец!.. При ее приближении я свободно вздыхаю; во мне, я чувствую, жужжит и порхает желание благодарить ее. Широко открытые шлюзы, достигнутое равновесие, живое доказательство... почему во мне такая живость? Из-за перламутра ее улыбки, из-за этого сияния, исходящего от нее, из-за образа ее ребенка и этой столь светлой четы, слава которой принадлежит ей, из-за открытости, которая одушевляет ее? Я не знаю. Она существует—это все. При мысли о ней я испытываю счастливое и доверчивое чувство, которое достигает своей вершины. Быть может, это и есть дружба.

Она идет осторожными мелкими шагами, и ей стоит не малого труда проложить себе дорогу. Ее голова, обрамленная бархатом, выступающая из нивы голов, как более светлый и более высокий колос, ее голова поднимается, обнажает драгоценные камни своих глаз, замечает меня, просветляется, увеличивается... Да будет высказана благодарность вот так... шопотом... и для меня одной: в зале будет всетаки одно ясное лицо.

Едва мы успели пожать руки: «Добрый вечер. Добрый вечер», а она уселась, в зале образовалось внезапно созревшее молчание, прорываемое от времени до времени покашливанием.

Будет говорить женщина.



Она тоже некрасива. Сколько возможностей, тем не менее, в этом мощном теле. Под доспехом корсета находятся, я убеждена, истинные и благородные очертания; под этими похожими на колбасы рукавами есть же руки матери и, быть может, любовницы; этот огромный шиньон, приплюснутый на затылке, сделан, тем не менее, из волос длинных и шелковистых на ощупь, за этими глазами, мечущими на нас свои ровные ромбы—какая нежность. Если бы она посмела—какая ласка...

Пришедшая для того, чтобы говорить нам, возвышающаяся на эстраде, чтобы принести свою мысль и немного своей души, разве она не знает, что ценна та душа, которую видно? Чтобы показать нашу душу и чтоб разделить ее, чтобы дать ей свободу, разве у нас есть что-либо иное, кроме человеческих средств, кроме изгибов движений, обнаженного тела, рта, надежной воды глаз, есть ли у нас что-нибудь иное, кроме тела, удерживающего ее, и улыбки, ее украшающей, есть ли у нас что-нибудь, кроме голоса.

Это—всего лишь голос, который дрожит на своей струне, но тем не менее, какое чудо: борозды зала окаменели, каждая голова пребывает в том выражении, в каком ее застало первое слово.

Мелкие неудачи, рынок, муж, трудно сводимые концы с концами, посуда, ребята, будни, которые тяготят плечи женщин и которые закабаляют их, все далеко отброшено.

Бледная блондинка с выцветшими глазами, там, рядом с Евой, должно быть так же морщила рот в виде буквы О, когда маленькой читала по складам. Старая дама, кивающая головой «да, да»—«да, да» повторяют сейчас

же два пера на ее шляпе — больше не думает о своих пустых заботах.

Они все отмечены некоей трогательной печатью: их стихия, их сила, их средство — это любовь. Они слушают любовью, они понимают любовью, и вот почему на них на всех эта мрачная и сосредоточенная внимательность.

Краснолицая кумушка, высоко несущая огонь своей пщи, палящий кожу ее скул, выражает лицом только брезгливый страх матери: представляешь себе толпу детей, прыгающих вокруг нее, как кролики. А эта худая девушка с темным взглядом — мы все видели ее упавшей на колени во мраке исповедальни, шепчущей свои грехи в резное отверстие деревянной решетки, сквозь которое испаряется горячее дыхание безликого мужчины — на какую горячность способна она тоже!

Вместо голоса, который утасает там с равномерными замедлениями, я ожидаю восклицаний всех их.

Они были в плену у самих себя, загроможденные своей собственной жизнью. И что такое жизнь? Что такое жалкое сборище желаний и трудов перед лицом чего-то огромного, чего-то огромного, которое скучивает все существа и делает их всех похожими друг на друга: чего-то, что я едва различаю, неуловимого и единодушного, имени которому я не знаю и перед лицом которого я говорю, подобно слепому, внезапно почувствовавшему солнце на своем лбу: «Есть свет»... И это что-то сделало, что все эти женщины пришли сегодня вечером, предлагая свое детское присутствие, свое несколько дикарское внимание и свои трагические рты, которые хотят все обнять. Чувствуют ли они великий поток, начинающийся от них и стремящийся быть введенным в русло, этот



совсем новый поток в атмосфере человечества? Нет еще. Нет еще...

Какой с'ежившейся кажется подле меня Ева с коротким взглядом, со складкой, соединяющей ее глаза. Меня берет неловкость.

«Браво, браво»... руки порхают все вместе, согласуются в белом листопаде; поклон на эстраде: кончено.

Собрание потягивается теперь и выпускает когти, среди движения двухсот тел, которые оправляются, грохота стульев и шелка вздохов. Под неуловимое кудахтанье шум птичьего двора возрождается и ширится.

Чтобы пропустить их, я прислонилась к стене; все наперерыв кидали на мою шляпу, на мое платье, на мои ботинки свой колючий взгляд.

— Идем, идем,—кричит мне Ева, со лбом, перегороженным твердыми линиями морщин, идем...

Снаружи ночь дышит на все группы, толкает их во все стороны и придает поредевшим голосам прозрачную звучность.

Ева берет меня за руку... но нет, у меня потребность быть одной, я сухо отталкиваю ее, как ветку, которую хочешь сломать, и она инстинктивно закутывается в свое пальто: — Какой нелепый вечер. Эти женщины...

Конечно, она права; было очень легко заметить безобразие каждой, ее незначительность, но так как они были *все вместе*, уничтоженные, умноженные, во величенные, несмотря ни на что, я клянусь, что они являли, какую-то бесформенную надежду, какой-то материал, какое-то неведомое богатство... Если бы я могла хоть объяснить...

— Скорей, скорей, мой трамвай. До свидания!...

Электрический звонок бросает на нас тяжелый болид с красным кругом, другой звонок останавливает маленький освещенный домик, куда по знаку руки исчезает, во взлете юбок, Ева.

Действительно ли она уехала? Боже мой, что она увозит с собой?

В облачной глубине длинной улицы, еще можно различить падающую звезду, которая, скользя, продолжает свой механический путь.

Я сказала: «Вот мой друг, моя приятельница, моя сестра».

И у меня осталось от нее в этот вечер нежное, как утренняя заря, великое волнение, которого она не понимает.

\* \* \*

Толстый швейцар предупредил меня: — Дама. Приходила два раза; в конце концов, дама, это только так говорится, какая-то... ну, словом, я знаю. Накрашенная, и платье такое, что видны икры до... Верьте или нет, она походила, как две капли воды, на вашу Мари. Если она опять придет, что ей сказать? Я не позволю такой подняться наверх. Метлой, а?

— Да нет же, господин Этьен, я дома сегодня, надо впустить ее.

И я, краснея, закрываю дверь швейцарской.

В сумраке площадки я узнаю ее: это Мари.

— Войдите...

Она прошла впереди меня в столовую — моя столовая, говорила она когда-то — и решительно расположилась



на стуле, побуждаемая чудовищной смелостью, которую принимает на себя, чтобы скрыть себя, истинная застенчивость.

Мари... Мари... Возможно ли?

На ней была большая шляпа из красной соломы, приподнятая с одного бока и спускающаяся с другого, под тяжестью огромных черных перьев, которые образовали два гибких султана, как у лошадей похоронных процессий. Нельзя было различить ее веснушек, скрытых штукатуркой, но ее глаза, ее прекрасные глаза, чистые, аквамариновые, хранили попрежнему свое влажное изумление, и ресницы, подведенные черным, бросали на них синие ответы.

То была Мари. Наконец-то! я узнаю все: ее молчание, причину ее бегства однажды вечером, даже не захватив своего тряпья и молитвенника. И она расскажет мне, как бедная маленькая служанка, непокорная доброте, может сделаться бедной маленькой проституткой, хвастливой и жалко разряженной.

— Я пришла за моими вещами...

— Они попрежнему здесь, Мари; я их вам отдам.

Но я не могла пошевелиться. Зрелище, бывшее предо мной, было ужасно... Я разглядывала ее: у нее была прелесть нежная и неуклюжая маленького голубого зверька. Она стояла предо мной простодушная и жалкая, как божья коровка, которую боишься раздавить, как упрямый ягненок, которого хочешь приласкать, а он трусит.

Я подмечала мелочи; она держала в руке матерчатую сумочку, в точности скопированную с сумочки, которая была у меня, когда она поступила ко мне. Шнурки ее

лакированных ботинок были завязаны, как у меня. Она стала очень опрятной, у нее были чистые руки, ее шея, наложенная мылом, окружала светлым цилиндром општуратуренный подбородок. Вместо того, чтобы быть бесцельным и пригвожденным, взгляд ее поддепывал предметы и возвращался нагруженный открытиями. Он разглядывал меня, едкий и настойчивый, как взгляд женщины; «Что, она постарела? Изменилась? Не похорошела ли?» — Он обегал комнату: «А этой маленькой этажерки не было в мое время, и этой гравюры... Кто же ведет хозяйство? Оно ведется хорошо». Она расстегнула воротник своей жакетки, чтобы заставить сверкать свою брошку из поддельных камней; ребенок превратился в женщину, она казалась мне страннее, чем когда бы то ни было.

— Зачем, Мари? зачем?

Я не могла больше бороться с собой... Она опустила локоть на стол; когда она подняла его, ее взгляд, подведенный красным, катился по двум бороздам, медленно прорезывавшимся на ее щеках. Я поднялась, я взяла ее за руку.

— Я скучала... я не виновата. Никто не занимался мною...

Великое слово... У них у всех эта пожирающая потребность. То, что они требуют от любви, то, что они ищут в ней, это «чтобы кто-нибудь занимался ими».

«И потом, мой чепчик, моя одежда... все на меня глядели. Тебе не стыдно?» — думала я...

Да, другая потребность, быть похожей на других, быть такой же красивой и — почему бы и нет — иметь сумочку, как у барыни, и шляпу, как у тех, что на улице.



— Это все,—прибавила она.

Это в самом деле было все. Если женщины продаются, их не всегда на это толкает нужда. Никто не знает того ада ревности, что пылает среди всех нас. Есть такие, которые наряжаются гораздо меньше, чтобы нравиться мужчинам, чем для того, чтобы не нравиться женщинам.

— Как вы несчастны.

— О, да.

Разве есть чувственность у бедной маленькой Мари? Женщины редко чувственны. Те, которые чувственны, не были такими: они стали такими.

Ее бретонский выговор вернулся к ней и пел на концах фраз; она говорила: «мадам», как четыре года назад, тем же рабским тоном. И у ней явилось желание рассказать все и облегчить себя ото всего. «У нее был один, и он не был ей противен, и он на фронте, и если б он только мог вернуться! А пока она делала сбережения, и они, может быть, могли бы устроиться своим домком и, может быть, он бы женился на ней; но если он не возвратится, тогда...»

Я была виновата. Я, я одна виновата. Я удовлетворялась тем, что огорчалась ее сердитым молчанием, и не сделала ничего. Но я должна была бы смириться, заслужить ее улыбку, я должна была говорить с нею, стереть в ее сердце это желание сравняться и превзойти, которое мешает нам всем быть сестрами в человечестве; я должна была бы...

Мы все виноваты за проституток, и это в нас надлежит бросить камень. Они почти все маленькие Мари, с тягой к одному единственному мужчине, с мирным и

здоровым желанием постоянного очага, но мы миримся с нуждой и не умеем говорить друг с другом.

Она взяла под мышку свою картонку. Я, не зная что делать, подошла, нищая сердцем, и, немного нагнувшись, неловко поцеловала ее щеку, размытую слезами и почерневшую от притираний.

Она вздрогнула, задетая за живое и сотрясаемая отращением: жидкая синева ее глаз стала острой и задорной, ее губы утончились, она прижала к себе свою сумочку, словно добычу. Потом она удалилась, оставив дверь открытой, предоставив мрачной тьме площадки возможность наводнить дом, унося на своем лице непоправимое и мрачное выражение, свойственное затравленному зверю.

\* \* \*

Я более двадцати дней не имела известий.

В миг моего пробуждения я чувствовала себя преисполненной упованием и обнадеженной молодым светом; утро болтало, и мой ужас прошлого вечера улетел как химера.

Звонок почтальона бередил рану — скрежещущий, невыносимый, резкий, — я бежала. Ничего, объявление, обыкновенное письмо, которое я не имела сил распечатать.

Это составляло в точности двадцать два дня. Я села за стол из благоразумия, но у меня не было храбрости, и мысль об угрожавшей ночи стискивала мне горло. Ну, так завтра что-нибудь будет, и невозможно, чтобы...

С тех пор, как беспокойство овладело мной, я опустилась. Никакого кокетства, никакой заботы о доме, пыль опускала мебель, я едва опраивляла кровать. Какое



значение имеют все эти вещи? Я хотела бы спать, спать...

Вернувшись, я накинула на себя фланелевый пеньюар, надела новые туфли и распустила волосы. Я не дала себе времени разогреть обед, приготовленный утром: тарелка в полной готовности на столе, апельсин, кусок хлеба... Поедим.

Но нет, я давилась глотками. Не в силах сделать ни одного движения, отягощенная неодолимой слабостью, почти парализованная, я бросилась в кресло. Я приведу комнату в порядок завтра, я буду работать вдвойне, но только не сегодня вечером...

Спать!..

Оцепенение в самом деле овладело мною. Темнота увеличилась, и когда окна впустили последние оттенки сумерек, они порхали на моих веках, принося мне проблески надежды.

Прежде всего двадцать два дня, это не так ужасно. Столько людей знали более долгое ожидание. Разве мне уже не пришлось оставаться шестнадцать дней без известий? Письма теряются в дороге.

Рисовалась картина: палата госпиталя, ряд кроватей, все белое, сиделки... Как было не подумать раньше об этом: ранен... легкая рана, которая мешает ему писать... я приняла эту уверенность с такой сладкой отрадой, что для того, чтобы лучше сохранить ее, я встала поскорей на ноги, готовая к радости, готовая дать отпор тревоге; тревога—оскорбление любви.

Я ощупью нашла лампу, быстро зажгла ее, намереваясь читать: повсюду грустно красовался беспорядок... Эх, завтра будет светло: я устроилась.

Строчки прыгали у меня перед глазами и казались словно армией муравьев, которые разбегались по стра- нице, разбегались постоянно и все же оставались тут. Не попробовать ли работать?.. Не попробовать ли сделать ему посылку? Он получит две на этой неделе, но две это не так уж много.

Мое сердце взорвалось: звонок... Кто, в это время? Уможенная волнением, моя жизнь кружилась вихрем, я кинулась, я открыла.

Черная, с'ежившаяся за черной дверью, в сми- рении сестер милосердия, просящих милостыню, это была в самом деле она: тетка Фино.

Я пробормотала несколько лицемерных слов, попра- вила волосы, внутренне проклиная ее, но почти облег- ченная этим докучливым приходом: ко мне пришло че- ловеческое существо, и с ним как бы осязательная уве- ренность. В моем волнении я едва не назвала ее теткой Фино и не открыла ей прозвище, которым семья име- нует ее в течение двадцати лет.

— Войди, тетя...

В то время, как она идет впереди меня, выпрямив стебель своего туловища, мысль о беспорядке в доме одолевает меня: мои комнатки, такие чистенькие обычно... и этот пеньюар... мои спустившиеся чулки...

— Я беспокою тебя в невозможное время,—говорит мне тетка Фино, садясь...—Итак, моя милая, ты живешь хорошо?

«Моя милая» из этого тонкого рта, который был скорее сделан из двух кишок, чем из двух губ. Слово вонзилось мне в грудь, как удар ножа: она едва присела на край стула и теребила ленты своей сумочки, дымная



тень лампы туманила ее худобу, худобу скелета, и заостряла ее глаза, похожие на глаза патача. Боже мой!

— Что-нибудь случилось, тетя? Несчастье?

— Полно, моя девочка... ну, успокойся... слушай...

— Умер!

Я почувствовала пропасть под ногами; что-то пылало по краям моих век. Я...

Тетка медленно поднялась. Я увидела ее руки, скрученные на столе, как связка веревок.

— Успокойся, прошу тебя; они получили — я не знаю от кого — плохие вести, но я их спросила: это официально? Они все посходили с ума, все наперерыв отказывались идти... Тогда, ты меня знаешь, я всегда имела к тебе расположение...

— Да, да, я поняла: он умер.

Она была все еще тут, с руками на столе, и гримаса, обнаруживающая зубы, делала плоским ее курносое лицо. Она все еще была тут...

— Тетя, уходи, пожалуйста, уходи, я тебя умоляю.

Может быть, она еще поговорила немного, может быть, она склонилась к моим волосам, чтобы поцеловать меня, может быть, я слышала, как гулкие капли свинца: «родина, испытание, жертва». Дверь закрылась за моей убитой любовью.

Я пыталась встать, я пыталась поднять надгробный камень и, волоча мускулы ног, приблизиться к окну и прижать лоб к стеклу. Но это было нечто танущее внутри, что-то холодное и непостижимое, как прикосновение улитки, как глубокий разрез по живому телу. И странное головокружение, которое было не только телесным, бросило меня в кресло.

Черная, свистящая дыра, в которую я свалилась, имела стены столовой, те же стены, обтянутые черными узорами, и видно было, как кружилось без конца, без конца, облако угольных бабочек, не больших, чем хлебные крошки, которые вырывались из лампового стекла, облепленного копотью.

Мое существо стало чем-то огромным и зияющим, питающим без конца отверзтую рану, и я была так переполнена тупым ужасом, что мгновениями его смерть становилась во мраке вещью обычной и естественной. Но когда я переменила руку, поддерживающую голову, множество змей начинали шевелиться в глубине моего тела, и я вновь начинала задыхаться — довольно! — я летела в пропасть в то время, как маленькие острые зубы кусали мою кровь, оставляя после себя ледяной яд, проникающий повсюду.

Это было все то же, господи; скорбь слишком однообразна.. Когда немного здравого смысла и повседневной жизни кричали мне в уши: «Кончено! Больше никогда!» когда гул мятежа лаял перед моими глазами: «Они убили его у тебя», и это было то же самое.

И когда я увидела раннее утро, стучащее в окно, ползущее своим мертвенным и грязным светом на стол, и когда я подняла мои перебитые колени, когда суета равнодушного дома начала просыпаться со стороны лестницы, — это опять было то же самое.

\* \* \*

Это — известие, пришедшее из глубины веков или из глубины плоти, не знаю точно.



Однажды, вот оно ускользает и убегает из тела — великий удар грома — и стремится опять вернуться туда. Оно стучит в области сердца и осаждает уши, рычит вокруг внутренностей, но нет больше места, нет больше тела, чтобы вместить его, уstraшенная душа прячется, сердце переполняется черной кровью, и ум описывает круги — это известие, известие: это смерть твоего любимого...

Мне было неужно, чтобы оно выскальзывало — я хорошо знала, что нощу его здесь.

Когда мы возвращались после работы и когда я целовала его этим самым ртом, обнимала этими самыми руками так крепко, что он смеялся, это оно иной раз так долго приковывало мой рот к его щеке и сцепляло мои руки, как железные крючья; оно препредупреждало меня каждое утро и пугало во мраке.

Мы говорили о ней, мы представляли себе эту роковую разлуку: «Если я умру, если ты умрешь». Мы хотели предвидеть ее, мы согласились на нее.

Мой любимый, знание горя не есть еще горе; знание смерти не есть еще смерть. Вдвоем мы не воображали, что я буду так страдать. Вдвоем невозможно вообразить, что такое быть одному.

Это словно другие роды, уверяю тебя: я вспоминаю твое лицо, когда я стонала в день нашего ребенка. Я истерзана еще более, и здесь нет больше тебя, чтобы держать меня за руку.

Почему все они говорят, что страдание необходимо, и что оно возвышает нас? Клянусь, что оно ни на что не пригодно.

Я была женщиной веселой, деятельной, у меня была цветущая грудь, тело, содержавшее наслаждение, губы, подобные поцелуям, яркие щеки, я вставала утром в пять часов, ложилась поздно ночью, и вечером, после трудового дня, я говорила себе: «Завтра!» как будто я ожидала самого лучшего дня в мире; у меня были бедность, смех, аппетит, у меня было совершенное единение, и—я настаиваю, что это идет в счет,— у меня была вольная жизнь, ясный ребенок в колыбели; у меня было это, я была этим, это было мое назначение.

Теперь я женщина со вспухшими и искусанными солью глазами, с заострившимся лицом, с гнущимся и колеблющимся телом в черном платье, с согбенными плечами, с обращенным внутрь взглядом; мой дом в беспорядке, мой вечер гаснет без лампы, и мой ребенок зовет меня... Я люблю его, не улыбаясь, а себя, себя я ненавижу.

Я пытаюсь быть доброй и смягчать проходящих, я словно высохший на стебле чертополох, словно плод, разрезанный на-двое и брошенный на дорогу, я бесполезная и горькая, я дурная, наконец.

Когда приближаются другие, я чувствую все уколы их терниев, и я утоляю жажду их желчью. И это ужасное почтение, которое они все испытывают к смерти, они закопаны в него, и это возмущает меня.

Моя семья навещает меня. Каждый полон предосторожностей, каждый изливает мед в своих речах. Я заслуживала лучшего тем не менее, когда я была счастлива; почему не склонились они тогда, когда было время? Когда они приходят, они все словно испускают крик облегчения: «Наконец-то! Ты страдаешь! Наконец-то



можно прийти к тебе». Они утешают меня и баюкают меня, и они вороны, оспаривающие остатки падали.

Но когда они имеют бесстыдство превозносить его заслуги, тогда это слишком. Тогда моя скорбь бьет наступление. Они, ненавидевшие его, когда он был жив! Молчите, не оскорбляйте его, я хочу одна знать, что он мертв.

Не произнося ни слова, ибо у скорби каменные уста, я сохраняю мою тайну под сводом моей спины и делаю вид, что слушаю их. Я сижу так у огня с распущенными волосами, нахмутив лоб, глядя, как горит огонь и крошится зола. В конце концов, их присутствие, их шаги, топчущие молчание, ведь это только еще немного больше горя, время всетаки проходит; ведь они всетаки уйдут.

...Заперли ли они дверь за собой? Я не знаю, я почти не могу уже двигаться.

Я одна с тобой, мои колени отвердели, сжались под моими руками, а огненный замок тихо иссекает под серым пеплом.

Есть такие, которые имеют по крайней мере утешение оплакивать настоящих мертвецов; они видели их, остывающих и уходящих, они слышали их последние слова, они пытались устранить агонию, они делали, что могли.

Ты! Как умер ты? Я даже не знаю. «Пал на поле чести». Что это значит? Утром или вечером? Один ли ты был, кричал ли ты, было тебе очень больно? Открыл ли ты еще раз глаза? Может быть, ты не мог, может быть, ты долго, долго звал меня. Ты, может быть, говорил себе, что я должна прийти. Да, конечно, я должна была

там быть, это я виновата, я всегда вылечивала тебя, ты хорошо знаешь, мне стоило только взять тебя за голову, чтобы тебе сразу стало легче.

Это мгновение твоей смерти, это мгновение, ужасное имя которого я не смею произнести, это мгновение, когда жизнь утонула в твоих устах,—я в это мгновение не умерла. Мы оба знали всю правду, и я, когда ты умирал, может быть, улыбалась.

Вот уже пятнадцать дней, пятнадцать ночей, пятнадцать лет, мое сердце кричит, что ты умер, что оно потеряло надежду увидеть твое появление, в твоей одежде, в твоём облике, в твоём обычном виде... Пятнадцать дней, как я пытаюсь выучиться всему наново, все начать снова, снова обсудить все; пятнадцать дней, как я не в силах; пятнадцать дней, как я вижу только то, что есть.

...Земля на твоих руках, на твоих глазах, повсюду, где твое тело, твои ноги холодны и серы, как ноги нищих, твоя кожа вздулась, и черви точат тебя. Я не хочу, я не могу тебя видеть таким, как ты есть, когда я думаю о тебе, я представляю тебя в твоём ложном образе живого, с твоими щеками цвета жизни и твоими славными естественными жестами. Как ты хочешь, что бы я не заблуждалась и не терялась: у меня не осталось ничего, само воспоминание о тебе слабеет каждый день, я больше не могу найти подлинного звука твоего голоса, твой труп скрытан; я как бы страдаю беспричинно.

Не уметь страдать—это, быть может, и есть скорбь... Невозможность угадать, где ты—это и есть твоя смерть?



Косматый, только что трещавший, камин пустеет: огонь пожрал огонь. Несколько головешек краснеет там и тут, гора пористых, химерических брандеров...

И тогда, тогда, мой любимый, если я не вижу тебя больше моими глазами, я вижу раздирающую правду. Я вижу ее, и вот она: Я отпустила тебя уйти, я согласилась; нечего больше говорить: это я убила тебя...

\* \*  
\*

...Не знаю, что за голод, не знаю, что за жажда—я чувствую потребность чистого воздуха и света. Солнце только что осветило внезапно раму открытого окна, позолота потрескивала по углам предметов, комната наполнилась искрами и залпами...

Быть на улице, итти, ощущать солнце на своей коже...

Мысль отнести письмо на почту поставила внезапно меня, нетерпеливую и проворную, на ноги.

Не взять ли с собой малыша? Но мысль о прогулке, о подобии развлечения... Я решила итти одна.

Я опять нашла старую привычку надевать шляпу—сбив с обеих сторон волосы—и я напудрила щеки, заметив вблизи изображение в зеркале: как идет женщине на пользу малейшая забота. Вместо маленькой заостренной мордочки, перепачканной бледностью и действительно некрасивой, которая вытягивалась все это время, не вызывая во мне ни малейшего чувства стыда—теперь то было лицо тепло-матовое и хорошо отлитое, которое моя, окаймленная белым, шляпа обрамляла длинными вуалями. Овал казался менее резким, глаза, окруженные лиловой тенью, теряли свою тусклую сосредоточенность, и паде-



ние рыжих усиков хмеля на лоб и на виски венчало меня тонким дыханием меди.

Ранняя весна давала чувствовать свой ветер, ветер режущий, немного едкий, который живо распылялся на улице: я шла неловко, как узники, которые покидают тюрьму, не зная, куда идти, застигнутые с первого шага пляской воздуха и его синими завитками.

Ничто не изменилось. Старый мост протягивает, как прежде, свои ажурные доски между мощеной улицей и улицей с глициниями; в промежутках домов зеленый пролом пространства—те же деревенские виды, и заплатанная старая крыша замшелой прачечной, в двух шагах от мельницы, еще показывает свой ломаный рог.

Из всех своих углов маленький городок протягивает мне свои воспоминания; вот одно, которому исполнилось два года, и там тоже притаился образ, и я зову его и принимаю, и моя жизнь не умерла, и мое сердце открыто, и все-таки есть человек, чтобы любить меня.

Я была несправедлива в черное мгновение, когда была охвачена отчаянием: у меня остается моя доля любви и света.

Знает ли он сейчас, что я вдова? За шесть месяцев, что он в плену, до меня не дошло ни одного известия, и я не знаю, получил ли он хоть одно мое письмо.

Солнце в своем могущественном приливе растапливало мою грудь и ласкало видение столь нежно—надежду или воспоминание,—что у меня было почти желание изгнать его и даже раскаяние.

Я пришла туда, в центр города, где прохожие чаще и, главное, зажиточнее. Человеческая масса мягко дробилась, воздвигая около меня женские силуэты, узнаваемые



мною. Я знала: я их встретила два года тому назад, этих двух молящихся старых дам; они были в тех же платьях и шляпах, которые можно видеть только в провинции... Когда я проходила, лукавые руки подняли украдкой уголок вязаных занавесей. Мне предшествовала тайна, и меня провожало перешептывание.

Каждый прохожий, которого я встречала, казалось, ставил мне в упрек ошеломляющее солнце, которое я впивала глазами; каждый дом хмурил свой фасад, и на всей улице целиком, несмотря на ласковое утро, был наложен траур—не только печаль и степенность—траур; и люди, казалось, следовали в медленной похоронной процессии, женщины под черным ярмом, обвитые крепом, каждая запертая живьем под своей шляпой и вуалью, как под власяницей кающегося.

Церковная площадь сияла языческой радостью; и большие платаны со стволами, запятнанными белым, пукали друг в друга ракеты птиц. Порою одна из них садилась на статую фонтана, тяжелую девушку в каменной юбке, со скромными и нагими грудями, с рукавами прачки, которая несет одной рукой сноп, другой, как пустую каску, вечную и иссякшую урну. Сквозь колеса своих двух круглых окон, сквозь свои высокие стрельчатые окна собор Богоматери впитывал в себя свет, расправлял морщины на своем седом лбу...

Было светло, народ ликовал, я смаковала вкус жизни, я обретала вновь, помимо своей воли, нервный и упругий шаг былых времен и впивала свежий воздух, как возбуждающий эликсир.

И была одна мысль, вселившаяся в меня, мысль, что он знает это зрелище, эти угрюмые лавки, этих вра-

ждебных прохожих, распустившийся четырехугольник деревьев, мысль, что он ходил по этим горбатым мостовым и что он владеет здесь, у в'езда в город, маленькой дачкой—эта мысль водила хоровод вокруг меня, и порой—я слишком слабая, она слишком быстрая,—я пользовалась ею, как подпоркой.

Еще женщина, окутанная вуалью...

Я уже видела эту осанку, немного грузную, но исполненную женственности; я уже встречала эту особу, отягощенную прелестью, уже отяжелевшей. Издали — можно различить—она украшена знаком вдовства: шляпа, окаймленная белым.

Она тоже!..

Она интересуется меня; в провинции интересуются всем встречным.

Кто же она, еще белокурая, еще свежая в свои сорок лет, кто?

Сердце рвется, страх овладевает вами, и несчастье приходит... Она близится, она идет, она всего в десяти шагах. Пусть она остановится... это она... она, *его жена*.

Я клянусь, что на протяжении десяти шагов можно испытать величайшую скорбь. Я успела затаить дыхание и почувствовать, как смерть своим взрывом сразила меня вторично; у меня было достаточно времени стать в свою очередь вдовой.

Она ужасающе приближалась: это приближалась смерть по краю тротуара. Не знаю, какое желание удержать — правда ли, это вы? правда ли, это он? правда ли, это я?— и умолить ее, взбесилось во мне и бросило меня к ней на дорогу. Я удерживаю сжатыми челюстями конвульсивный вопль... Словно кудахтанье вырвалось из моего



рта... Смутясь, она устремила свои глаза прямо перед собой, явно отвернувшись, как от пьяного попрошайки, который оскорбил бы ее, попросив милостыню.

Я смотрела, смотрела на нее...

Она уходит—это на всю жизнь,—юбка ее касается земли, унося в своем полете остатки моей радости, оставив меня ошеломленной, одинокой под солнцем. Она уходит.

... Господи!..

\* \* \*

Мой сын растет.

Это ребенок с яшмовым лбом, с кудрями старого золота, щеками, окрашенными алой краской, и распространяющий ангельское спокойствие синевой своих глаз. Он обещает стать очень красивым. Ко мне часто подходят на улице, чтобы сказать об этом, и я от этого испытываю на мгновение легкую гордость.

Он начинает отражать в себе ответы человеческого, он говорит, он выражает свое желание касаться предметов и обладать ими, он больше не может устоять перед приманкой сказок: «И тогда, мамочка? скажи, тогда?..» Я начинаю всегда с того, что целую его.

Мое сердце растет с ним вместе. Только теперь я чувствую его существование, вкоренившееся в мое собственное существование: уже не только заботы, не только моя вечная тревога спаивают меня с ним, но и поцелуи, которые он мне дает. Когда он говорит мне: «Мама», с этим неподражаемым выражением, я горда и переполнена, когда он обвивает своими руками

меня за шею, я словно присвоила себе совершенное вознаграждение, слишком совершенное для меня.

Тот ужас, который он внушал мне тогда, когда был маленьким, таким маленьким, таким хрупким, этот ужас слаживается. Я его баюкала, оберегала и кормила своим молоком, у него крепкие ноги и сильное тело, но теперь я чувствую рождение более широкого страха.

Самый большой страх — в моей жизни. Воспитать ребенка. Держать в руках не то, чем он будет, но то, чем он может быть. И располагать всем, красками, которые он видит, и словами, которыми он слышит. Вторично родить живое существо. Быть достойной этого...

И не иметь себе в помощь ничего, кроме провидительного и слишком умного сердца, сердца взрослого человека.

Иметь, чтобы обманываться, это робкое сердце, слишком торопливое сердце матери.

Не иметь ничего другого.

\* \*  
\*

Он видел меня.

Сидя на траве, на краю обрывистой тропинки, венчающей море, которую взрывает ветер, я инстинктивно изваяла из своего раскинувшегося тела достойное и прямое положение женщины, находящейся в опасности.

Откуда он явился? Как он нашел мои следы? Какая спешка гонит его, что он движется так быстро...

Он идет, он совсем близко...

Теперь он пытается принять безразличный и безымянный вид прохожего; он сокращает свои большие



шаги, но, помимо его воли, лицо его растягивается и сияет радостью охотника, чующего верный след. Еще немного, и он бы засвистел.

Если бы я попробовала пересечь откос железнодорожной насыпи и спастись лесом? Надо ли?

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

Этот человек, конечно, красив в ярком свете, и я улыбаюсь его приходу, как я улыбалась сейчас, когда солнце брало приступом холм.

Я всегда видела его в тени, когда он подходил к своему жизнерадостному и белому домику, пойманному в лассо зелены, и когда, замедлив у заржавленной решетки, он тянул по мне свой долгий взгляд, осененный длинными ресницами. Вчера вечером на дороге, когда он встретил меня, у него были глаза черной эмали; в твердом свете сегодняшнего утра они серые, кристальнее моря.

Трагический поединок взглядов... тысяча заданных и разрешенных вопросов... неслыханное постижение... головокружение... головокружение неудержимое...

Покачиваясь на ногах, он ищет теперь на земле ложь, которая должна прозябнуть, и когда он меня спрашивает сдавленным шепотом признания, продлится ли эта великолепная погода, я, в свой черед, надеваю маску и вопрошаю горизонт, неподвижный и немой.

Безопасность. Между нами лицемерие. Он нашел приличную тему и ловко разрабатывает ее, короткими отрывистыми фразами, мясистыми, как поделуи, которые дают ребенку, оборачивая ко мне свою немного трехуголь-

ную голову и далеко отбрасывая густую гриву, облепленную сумерками.

Он топчется на месте: «Ответьте мне, умоляют мерцающие звезды—его глаза, ответьте, я вопрошаю...»

Нет. У меня нет охоты отвечать; я бросаю слово, то здесь, то там, с жаркой уверенностью, которая появляется, когда на тебя глядят с вожделением. Оборонительная позиция, к которой вынуждают мужчины. Я наклоняюсь, и мои руки принимаются равномерно рвать густую траву, окружающую меня, рассеивая в воздухе мирный и сухой хруст, поднимая тонкую свежесть. На бархатистом склоне теперь две лысины, и несколько легких былинки изгибаются в воздухе...

...Уйдет ли он?

Он понял. Его грудь опускается, как складывающиеся мехи, и его большие ноги упрямо вырывают свои корни.

К тому же, зачем эта хитрость и эти задние мысли? Я для него частица нежного пейзажа, и я понимаю, что он смотрит на меня с нежностью. Почему не осмелиться на признание естественное и чистое?

— ...До свидания...

— До свидания.

У меня не хватает смелости возмутиться против этого человека: слишком хорошо.

Когда видишь перед собою сумасбродное утро, бросающее свои бубенчики на дорогу, а там, вверху, голубую дугу рая, касающуюся с любовью коричневой дуги земли, не ощущаешь больше ничего, кроме горячей снисходительности.

Слишком прекрасно: деревья смешивают свои ветви, лучи свой жар и птицы свои крики. Внизу подходит



море, скрывая лязг своих цепей под армией маленьких воля, быстрых и трепещущих...

И этот человек с лукавыми глазами, всего только черная былинка, которую треплет ветер, уносит на конец полуострова, на возвышенность, окрашенную охрой, где несколько сосен, собранных букетами, разматывают в лазури три синеватых веретена.

Слишком хорошо; нужно только закрыть глаза.

Я закрываю их. Пусть погаснет на мгновение эта вода, кипящая в своем синем котле, прорванная в середине тысячью золотых пузырьков, разорванная по краям тысячью серебряных зубьев. Я больше не хочу думать. Я больше не хочу ничего чувствовать, кроме теплых стрелок, которые пронзают мои руки, положенные на скошенную траву, и этого странного благополучия, которое мне заменяет все...

Спала ли я в самом деле?.. Нежность, нежность уст, обласканных и припухших от ветра, нежность, подавляющая и томная, благотворная жизнь.

Но... это черное платье... мои мертвые... кто же... У меня нет ничего, кроме моей скорби, у меня только она; что же я сделала дурного, что она так поет?

Ничего больше не вспоминается... Повсюду земля, курающаяся бодростью, слишком синяя качка моря, и там, это миндальное дерево, окутанное волшебной белизной, повсюду ликование и радость.

Скорбь, где же ты?—Повсюду простор, ужасающе живой, где многоцветная надежда и где смерть только что умерла в последний раз.

Дело произошло как в романе.

Мужчина, который вдруг чувствует, как задыхается его хищническая жизнь, который с жаром уступает ей, и в алых объятиях женщина, отбивающаяся, собирающая ощупью старые жесты утраченных времен.

...Вплоть до моих слов. Откуда явились они, эти слова, которые стегали его, возбуждали его желание и кончали тем, что падали на его лицо каплями ледяной воды.

Пристыженная, оправляя волосы, я покинула комнату. Как могли мы так долго работать день за днем, без того, чтобы что-нибудь предупредило меня, что надо быть настороже? Была я слепа? Я пыталась осмыслить все мои воспоминания... тем не менее, нет!

Я покину его сейчас, и нужно ему высказать.

Его неудача придает ему униженный вид, делающий его более человеческим и приближающий ко мне: глубоко чувствуется, что открыты другие двери и что можно было бы, если захотеть, постучать в иное место.

Этот человек, мрачный, резкий, с давних пор обреченный только на повелительные жесты, высушенный жгучим могуществом, которое дается деньгами, и связанный в своем могуществе, глядит на меня со вниманием в поднятых глазах, которое кажется детским... Женщины сильно ошибаются, воображая, что мужчина удаляется от них, когда отказывается от своего желания.

Я говорю бессвязные вещи с целью только прийти к тем, которые занимают меня, и он протягивает все более и более, все более и более свое лицо, как будто он



подвигается шаг за шагом. И мои золотистые волосы, уста слов, мое находящееся здесь и скрытое тело, вся моя женственность, наконец, сглаживаются постепенно, сглаживаются совершенно, — непогрешимый инстинкт объявляет мне об этом, — отныне, он не видит ничего, кроме моего голоса, он удивляется, что голос прав и, чтобы знать, будет ли он прав до конца, он снова садится в кресло, устраивается поудобнее и расправляет брови, последовательный и рассеянный самим собой.

— Но, в конце концов, мое богатство... Ибо я женился бы на вас без любви с вашей стороны, и вы хорошо знаете... Богатство все же... Ничего не делать...

— Вот вы только что сказали это; ничего не делать... Я, быть может, не смогла бы найти так сразу. Я сказала бы, как тогда, что я не люблю вас. Я подумала бы также об отвращении, которое возбуждает во мне мысль о браке. Не делайте такой вид: так, как он есть — брак двух существ безнравствен и бессмыслен. Не говорите, не говорите, что мой брак был совершенным — человек, которого я потеряла, был единственным... его сердце! Но средним существам, как я, как вы, брак приносит только несчастье и посредственность...

...Пожениться, но это значит лгать, обманываться и обманывать другого, и безумно предполагать, что мужчина и женщина могут навсегда ограничиться друг другом, когда они чувствуют в себе все надежды, когда перед ними меняющийся горизонт и дороги всего мира и когда, наконец, перед ними вся жизнь.

Женятся, обязывают свою душу и обещают свое тело. Заключение в тюрьму мучается, и если призыв или

отклик любви однажды становится слишком сильным, какая есть другая возможность, как не лгать или не разбить цепь? Ложь или катастрофа — выбора нет. Любовь не заполняет этой природной ненависти между мужчиной и женщиной, наоборот, она оживляет ее, и чтобы осмелиться испытать вдвоем невозможное, смелое приключение, чтобы дать коснуться во всю длину их течения двум враждебным судьбам, нужно сердце, которого нет ни у вас, ни у меня, дух более высокий, чем природа и разум бога, уверяю вас...

Быть может, под конец пришел бы главный довод, и слова, которые вы мне предложили, как искушение, я с гневом отбросила бы вдаль: ничего не делать! Ибо, не правда ли, мы хорошо понимаем друг друга, стать вашей женой, это значило бы получить именно этот удел: ничего не делать.

...Вы киваете, вы подтверждаете, и мне остается привести только один довод: я бы не могла жить.

Да, это так просто: сколько бы я ни пыталась, у меня не хватило бы силы присутствовать ежедневно при этой определенной смерти, которую видишь каждый вечер, если бы я не чувствовала в себе этой усталости, этой изношенности и этого словно прощения, которые оставляет дневной труд. Это просто: я бы ела без всякой охоты, я бы не спала мирно.

И утром, если бы я не знала, что все это ликование, вся эта беспорядочная сила, все это роение разрозненных желаний может быть сдержано, запружено, взнуздано порядком... Нет, я бы не осмелилась снова начать жить...



В одном дне слишком много соблазнов, в одном теле слишком много чувств, и нужно, чтобы, под смиренным долгом, отдаленная, второстепенная, внутренняя жизнь научилась обуздывать себя, только глядя на другую. Если прислушиваться к голосу той доброты, которой обладаешь, и того неба, которое носишь в себе, скажите, чем станешь тогда?.. Я не была бы способна долго противоборствовать. Ах! Я представляю себе, что, несмотря ни на что, вы понимаете меня, что вы тоже чувствовали помощь ежедневного долга. Я никогда не обращала на вас особенного внимания, вы были только одним из многочисленных статистов среди этих декораций, но я уважала вас, ибо вы составляли часть моего усилия, и вы, вы тоже много трудились.

Когда я оставляла вас, я чувствовала себя гораздо нежнее, сквозь мою усталость, свободная, чтобы думать о себе, легкая, умудренная, располагающая собой, словно были отпущены мои грехи. Я заплатила, я больше ничего не была должна.

Я не знаю, доброе ли дело работа сама по себе. Господь, когда существовал, никогда не засчитывал ее нам. Не лгать, это не значит различать истину, и работать не значит найти ее, но это уже право идти к ней, это приведение себя в состояние благодати и здоровья.

Теперь подумайте, какую вы предложили мне жалкую участь, мне, которая все-таки жила подле вас, под тем же трудом, как под одной крышей! Нужно, чтобы вы ничего не видели, ничего не узнали, ничего не поняли. Вы привели меня в ужас... Ваш вчерашний жест,—боже мой, вы напали на меня, вы, мужчина, я защищалась—мы квиты.



Но эти деньги, расточаемые горстями, чтобы они сверкали на мне и по ночам затыкали мне рот и делали покорной в теплом углублении постели...

Всетаки нужно попытаться быть справедливым. Проживая ваши дни, вы не думали, значит, что мне остаются мои, мои дни и мои сильные руки, и деятельность, и честность в глубине моего тела... Мое значение, мое крошечное значение существа, мой мир. Что вы сделали из них?

Даже если бы вы смеялись над требовательностью души, вы думаете, значит, что дело в одной душе. А все другие, все другие, наконец... Ведь выходишь все же из дома, видишь улицу, трудящуюся толпу, проходящих рабочих; ведь нужно же взглянуть им в лицо... скажите, как поступают те, которым *нечего делать?*

Да, вы удаляетесь. Я вижу, это не может интересовать вас. Для того, чтобы вы оставались склоненным, нужно, чтобы такой была я, я одна, открытая под моими словами, так, как если бы я была нагой».

Внезапный прилив заставил меня покраснеть, мои губы, я почувствовала, окровавились, и наши взгляды преследовали друг друга, как скрецающиеся клинки.

И вот я праздная, опустившая руки, несущая на своих плечах неожиданную тяжесть моих бесполезных слов. Мужчина повторяет мое движение и поднимается в свою очередь.

Я уйду, я уйду далеко, это так, не сожалеете, вы видите преимущество трудящихся женщин: они больше ничего не боятся. Они, может быть, еще во власти несчастия—несчастье подстерегает всюду,—но они не во власти существ.



... Нет, это все, я ухожу.

В прерванном рассыпчатом молчании, как желает этот человек, чтобы я никогда не уходила! Он так хочет этого, что одно мгновение он причащается любви и образуется дорога, по которой, может быть, я могла бы сделать один шаг, но только один, не больше.

Глаза врезаются в пустоту, я слышу крик мрачного и вечного прощания, которое кружится над предметами... этот стол, за которым я работала, и это последнее солнце, смеющееся в окно, и эти привычные предметы, которые слегка дрожат в начинающемся удалении—под зачатием всего того, что должно быть...

Мужчина приблизился ко мне и пожимает мне руку. И я думаю о всех тех, кого можно было бы победить, если бы захотеть потрудиться над этим...

Если бы было время...

Если бы жизнь не была выбором...

\* \* \*

Голова качается... лоб клонится, клонится, потом пальцы, в свою очередь, выпускают квадрат вышивки: мама заснула.

Она теперь часто приходит повидать меня. Руки загромождены свертками—бархатистые плоды, бутылки золотистого вина «от твоего отца», она приходит, задышавшись, обедает со мной, и, если оказывается поздно возвращаться домой, я уступаю ей мою комнату. Чувствуется—бедная мама!—что она исполняет долг, почти паломничество, и что она боролась, прежде чем предпри-

нять его: «Бедняжка... нельзя же все-таки оставить ее одну... Нужно пожалеть».

Я видела сегодня, отворяя ей дверь, что задняя мысль работала у нее в голове. Ее слегка пергаментное лицо было все в морщинах, и она поцеловала меня дважды, трижды, что было совсем не в ее обычае. Разве нам сегодня предстоит дать сражение?

Наш обед кончился, и я все еще ждала.

— А! Кстати, моя девочка, этот от'езд, этот... ну, наконец, этот проект, это не серьезно? Твое положение, полно... полно... Мы дошли, да или нет? Ты кончишь тем, что рассердишь нас, упорствуя таким образом. Пусть у тебя были капризы молодой девушки, причуды зарабатывать себе на хлеб... пусть ты вышла замуж против нашей воли—ну да же, против нашей воли... — твой несчастный муж умер, ты уплатила свою часть, и мы хотим, отец и я, все забыть. Ты будешь у нас иметь совершенно спокойное существование, и все, что тебе нужно; тебе устроят комнату, я буду помогать тебе воспитывать твоего ребенка, ты можешь выходить сколько тебе угодно, мы предоставим тебе свободу... Нужно подумать также и о том, что твоя будущность может измениться, ты так молода...

Почему ты мне не отвечаешь? Разве я говорю, как враг? Разве я не хочу твоего блага?

Она не знает больше, что говорить, и, чтобы избежать бесполезных споров, я кидаюсь к ней на шею.

Широкая и добрая улыбка озаряет ее: игра выиграна, все сделано и, право же, без большого труда... И в радости лучшие аргументы являются ей толпой; она предвидела, разумеется, что я соглашусь с ней.



— Не правда ли, ты ведь не одна. Когда имеешь ребенка, приходится считаться...

Ничего не поделаешь. Надо об'яснить ей.

— Мамочка...

Я кусала губы и, должно быть, я приняла вновь мой упрямый вид маленькой девочки, так как она внезапно оттолкнула меня. Молния сверкнула в ее взгляде.

— Ну а мы? В какое положение ставишь ты нас, скажи?... подумай немного. Увидят, что ты уезжаешь так, сразу, как будто бы мы отказались взять тебя. За кого нас будут считать? Ну а ты?.. На что это похоже, молодая женщина, уезжающая одна, так сказать, искать приключений...

Покрасневшее лицо, стремительный голос, обе руки, выходящие за ее тень, она совершенно вышла из границ.

... Усталость ли это моих нервов или ужас постоянно, несмотря ни на что, чувствовать эту бездну между нами обоими?—Я разразилась рыданиями.

С своим упорным терпением мама доходит часто до конца. Но она не может устоять против довода слез, и, помимо меня, я ее победила. Расстроенная, она берет меня в свои объятия, находит огромный жест, чтобы убаюкать большую тоску, которая сотрясает меня, покрывает мои волосы мелкими, короткими поцелуями!.. — Полно!.. полно!

Я делала бешеное усилие, чтобы очистить себя от ужасного впечатления, которое было у меня, которого я ни за что на свете не хотела бы иметь, и если бы нужно было в этот миг отдать жизнь, чтобы задушить его, я отдала бы, господи; но капля по капле яд водво-

рился в мое сердце и изменил его в сердце неведомое и горькое.

Покорная своими плечами и склоненным лбом, вооруженная немного лукавой нежностью тех, кто привык сгибаться, мама сблизила наши стулья и, с работой в руках, с желтеющим под лампой серебром своих волос, она пробует неловко взять в плен мое внимание, утешить меня во что бы то ни стало и всеми средствами, и незаметно.

— Это салфеточка для подноса, видишь, я заметила, что у тебя нету... кругом ажурные полосы, посередине вязанный квадрат; тебе нравится?

Я закупирила свои глаза, я скорчила видимую улыбку, чтобы следить за продергивающейся ниткой, я любовалась тонкостью, медлительностью работы, я силилась заполнить каждую пустоту разговора...

И тихо, и медленно час ослабел. Уже почти не было керосина в свечильне, и черта за чертой тонкое лицо матери уснуло, почти обратилось в мумию, под сокращенным светом, который утончался еще более и начинал пахнуть дымом.

Она спит сейчас.

Мое впечатление бежит свободно, скользит большими волнами в комнату и увлекает меня туда, к далекому, которое выступает из мрака и которое похоже на мое детство...

Я вспоминаю, что я была совсем маленьким ребенком, которого по вечерам окружали руки мамы и который подставлял свой лоб поцелуям феи.

Я вспоминаю о девочке побольше, которая упала, поранила лоб и ладонь руки и которая бежала отнести



свое горе к живому провидению. «Ты ушиблась... у тебя кровь». И я чувствовала содрогание волшебной раны, ибо оно кидалось ко мне, прижимало к своему сердцу мое несправедливое несчастье, и когда оно с трепещущими предосторожностями оканчивало мое лечение, я тайно сожалела, что вижу заживление благотворной раны, что не могу более источать крови в обмен на горячую кровь, кровь льющуюся и красную, и которая проливается на вас дождем такой безумной нежности.

Я вспоминаю о продолжительной болезни, над которой склонялся истинный ангел. Комната была полна облаками, облака над моею кроватью и неумолчный благовест у меня в ушах. При движении ангела поток свежести достигал до меня, великолепная рука поднимала голову, тяжелую, как раскаленное ядро, и я слышала небесный голос, говорящий с выражением обыкновенных матерей: «Пей, дорогая».

Я вспоминаю...

Едва только я вспоминаю о мгновениях моих усилий, о настоящих мгновениях, о единственных, которые идут в счет, я вижу себя сиротой.

Нет, мама, тебя не было здесь, когда вырастала моя скрытая жизнь, ни в первое утро, когда я узрела ясно, ни в миг моей любви, ни в одно из мгновений доброй воли, никогда, никогда... Это ты осталась, это ты ушла, я шла своей дорогой: нужно ли мне было остановиться, чтобы следовать за тобою?

Ты обожала мою малость, мои слезы, мои проступки и все мои заблуждения, это правда, ты словно высиживала их. Невозможно всегда испытывать боль, быть дурной, оставаться маленькой...

Ты мать, мама, ты умеешь прощать всё; когда отец бранил нас, ты приходила тайком простить нас поцелуем, и ты говорила иной раз, стиснув зубы, с недоверием в своих глазах волчицы: — Все ваши ошибки я прощу; все ваши неправды я оправдаю.

А я, вот что я сделала: я призвала истину, я трудилась, я восходила, я пыталась, у меня были переливчатые мгновения, цветущие дни, и счастье было моим ровесником: это ты простила бы, мама?

Я не лучше, чем твое сердце, но эта жизнь вокруг меня, которая хочет, чтобы делали больше, чтобы любили больше, и именно это различает нас, это действительно то, что нас разлучает.

Все, что поет и приглашает вас в свой отверзтый мир, одним словом, «во вне», казалось тебе гибельным, и ты хотела бы, раскинув руки крестом перед дверью, запретить мне быть свободной, и ты хотела бы, скупая и неимущая, чтоб я приветствовала твою скупость и хвалила твою нищету: «Ты не должна судить ни отца, ни матери».

— Мама, когда дети большие, у них глаза широко раскрыты... И если мой сын увидит меня опустившейся ниже, чем его любовь, ниже, чем моя, пусть он осудит меня и приговорит.

Нет, это не будет «всегда одно и то же», по вашим словам, ибо это не зависит ни от него, ни от тебя. Это зависит только от меня. Ты не знаешь, ты не знаешь.

Лампа при последнем издыхании посылает нам черноватый свет, который скачет, прихрамывая, и забрызгивает тенью подвешенное окружающее.

Я никогда не замечала мягкой припухлости, которая окружает ее веки, ни остроты ее скул, ни опустившихся



уголков этого нежного рта, ни плоской худобы этой приче-ски, которую я знала полной и пылающей, как моя. Я никогда еще не замечала трагическую тождествен-ность спящих и мертвых. И я не знала, что непрелож-ная истина имеет иной раз проклятое выражение, и что она заставляет плакать, и что она тем не менее истинна.

Ножницы соскользнули, и произведенный ими метал-лический звук заставил ее пробудиться, вздрогнув:—Как! Ты все еще плачешь?

Она встряхивает лампу, чтобы принудить ее к искус-ственной вспышке, и, поднимаясь, своим покорным тоном, с трогательной интуицией, сама не зная о моей ужасной мысли:—Утри свои глаза, полно... мертвые созданы лишь из забвения.

\* \* \*

Гроза всю ночь мела город, перерывала улицы, глу-шила дома, и гром разразился так близко, что я подня-лась, раздробленная страхом, чтобы укрепить дрожащей рукой мои опущенные ставни.

Должно быть ураган в своем гневе вырвал день раньше обыкновенного, ибо угрюмое утро тянет по земле свое се-рое и боязливое крыло и возобновляет полет только под страшным напором ветра.

Зрелище так живо, что я села возле окна причесать волосы. Плечом к раме, зеркало на стене.

С одной стороны непрерывное выравнивание, сухой зов дождя, крыши, лакированные синим, бледный бег облаков.

Напротив изображение, носящее мое имя.

Чем больше заботится женщина о том, чтобы нравиться, тем меньше она видит себя в зеркале. То, что она видит, это представление, которое имеют о ней другие, это род сознания, которое она имеет о своем могуществе, это неукротимое желание пленять, это уже не она.

Вот сейчас, приблизившись, я, конечно, увижу себя. Внезапно мне стало страшно.

Я подняла спутанные пряди, которые золотили мои виски, когда я заметила мой первый седой волос. Я приблизилась, испытывая без милосердия мое лицо: по концам глаз приготовлено место для тонкой пальмы, которая закрывается, когда я смеюсь...

Сумасшедшая потребность овладела мною, я хотела видеть себя, видеть еще. По углам рта невидимая линия избрала свой путь, и овал, такой четкий, которым охвачено мое лицо, перелился немного через форму и образует под подбородком неуловимую массу, которую больше не уничтожает самое большое натяжение.

Я хотела спастись, я хотела посмотреть, я хотела... Клянусь, что сердце билось у меня так сильно, что его можно было бы взять руками.

Сколько мне осталось? Десять лет?.. Восемь?.. Может быть только шесть, оставаться в точности той самой женщиной, какой я есть.

Придет день, затопленный среди других, день, похожий на другие, но придет день, когда эта женщина умрет, тогда как я буду жить...

Я пытаюсь вопрошать пространство, я оборачиваюсь повсюду. Гроза усилилась, кружа водяное облако, которое рассеивает далеко свой прозрачный дым, заставляя про-



бегать по лакированной мостовой короткий низкий трепет, гоня перед собой прохожих.

Откуда же этот ужас, гонящий свой вихрь из глубины будущего, дует на мою молодость и леденит мою кровь; откуда эти два слова, которые нарезают винтом мне грудь? шесть лет...

Но нет, это невозможно! Я верю в потоп, в молнию, в несчастье, в забвение. Но не в это. Почему оно изменится, это лицо и его контур, его мраморная чистота, и его цвет, принадлежащий мне? Почему? Я уже имела немало храбрости, я всегда делала то, что должно, но этого отречения и этой гнусной покорности у меня нет, у меня нет!

Я охотно приму смерть. Если это нужно, я протяну ей руки. Пусть один миг моей жизни покатится в небытие, стирая другие: возьмите, сразите, я уже готова...

Но чтобы она была написана на моем лице: через шесть лет и никак не дольше — и чтобы ее видели, и чтобы я показывала ее с улыбкой тем, кого я люблю, как неуловимый дар; чтобы я несла на себе это тусклое бесправие, чтобы я была отмечена морщинами, чтобы мои волосы пожелтели, мои щеки высохли! — А если я отказываюсь?

Еще не имея сил увидеть то, что будет и кто будет, я прижала мой лоб к стеклу, по которому стучала грустная музыка.

Я испытывала глубокие чувства, столь же многочисленные и столь же частые, как эти капли дождя: я познала чувства более широкие, чем душа, но единственное чувство, действительно присущее женщине, единственное, которое на нее походит, единственное, которое овладевает

ее душой, владея ее телом, это огромное желание быть красивой. Я жила через любовь, я ласкала моего ребенка, так, словно я еще ношу его, но в течение всех моих дней, от пробуждения до вечера, перед чередованием времен года, в подземной глубине лет, из самой дали, о которой я вспоминаю, я была замаскирована и защищена желанием нравиться.

Я не была красивее, чем другие, но я желала быть красивее; мужчины окружали меня помимо моей воли, помимо их воли, и не скупились на взгляды. Я приближалась, как луч радости, и жизнь становилась праздником краснее войны; я об'яснялась, не произнося ни слова, все сердца были наготове, они любили меня больше, чем я просила, и почти столько же, сколько мне было нужно.

Вот воздух, которым я дышала, вот воздух, который мне необходим: хорошо ли это, плохо ли это? Это инстинкт, который кружит вас со всей скоростью, и если его вырвать, он вырастет вновь.

Итак, как же может быть, что однажды, и без моей вины, несокрушимый инстинкт увидит свою землю потемневшей, навсегда бесплодной? Как может быть, что я не буду нравиться, если я хочу еще нравиться?

Дождь бешено хлещет жидковатое стекло и катится возле моей щеки длинными прозрачными слезами. Резкое хрипение ветра просочилось сквозь все щели комнаты, оно плачет вокруг меня, как жалобный и безнадежный смычок.

Кто это? Женщина, которая там в зеркале? Или это женщина, которая есть я? Уже нельзя узнать, которая говорит которой.



«Ты, значит, способна допустить, чтобы тебе нанесли поражение?»

Ты думала, что ты сделала все. Остается еще на земле, по которой идешь, прощание, более пугающее. Между тем, ты тащишься по земле, в которой гниют могилы, и ты нашла чем жить, когда ты поднялась, но этого последнего прощания ты еще недостойна. Чтобы следовать ему, нужно иметь величие, которого у тебя нет, силу, более крупную, чем эта тайная сила, которой ты гордишься. Ты думала быть чистой, и ты была совершенно уверена, что жила полностью в самой себе. Смотри».

Как мне стыдно, господи: как она чужда мне—эта, апротив меня, в зеркале.

С самого начала я сказала избранному мною супругу: «Столько же, сколько мою любовь, я буду любить твоё счастье, и если когда-нибудь оно будет иметь черты другой женщины, да будет мне эта женщина дорога».

Когда одна из них приближалась, я хмурила брови и давала себе обет испортить ее в его воображении.

Он любил меня, как любят жизнь, как поют, как целуют. И я ставила ему в упрек, что он не склонялся достаточно близко, не повторял каждый день свою ласку. Я отдала мою веру; чтобы не отнимать ее, мне были нужны жесты, слова; чтобы сохранить ее, мне нужно коснуться доказательств его сердца.

Когда я познала другую любовь, мой инстинкт не сумел подняться на высоту моей мысли. Встречного человека я не сумела приблизить к пришедшему. Я не сумела также заставить принять истину ту женщину, которая любила его.

И я позволила прийти к себе людям и присутствиям бесполезным. Я видела их, бьющихся вокруг меня, как болтливые и драчливые воробьи вокруг дерева; я видела их, ворующих и уносящих в клюве плод моего времени. Уметь жить—это уметь выбирать. Я не умела.

Повсюду стыд. Повсюду в прошлом ад того, что я потеряла.

Эти руки, которые могли все, почти ничего не сделали. Я удовольствовалась малым и думала о скромном.

Зовы, кричащие во мне, я почти все заставила умолкнуть: я позволила человеческому уважению управлять мною и ограничить меня. Я чувствую еще говорящий взгляд этого незабываемого прохожего. Как крик, преодолевающий ночь, я слышала грубую и высокую мольбу, которая брызнула при встрече. Какие-то безразличные люди были вокруг меня—я сосредоточила свое внимание на них: быть может, это была моя последняя жизнь, и чужестранец беспощадно унес ее в глубине себя. Я пропустила.

Я думала, что я красива. Красота есть обещание, которого не сдержала ни одна женщина. Я видела мои чары в зеркале, но я не искала призвания, на которое я была отмечена. Кто заметил—что он носит единственное знамение?

Ветер удваивается и с рычанием достигает лазури неба. Совсем подле окна давится водосточная труба, дождь стучит: «Что ты сделала? Что ты сделала?»

Господи, я гляжу себе в лицо. В ожидании того, что покажется просвет в облачном небе и туча удалится, что мокрый воздух станет искриться меж капель солнца, в ожидании нежного гения, который нужен, чтобы



научиться стареть, в ожидании недостижимого совершенства, за которое я боролась, я гляжу и гляжу на себя.

Я приблизилась к окну, чтобы взглянуть на грозу и пригладить волосы: наклонившись, я в зеркале обрела бога.

Бог здесь, я вижу его приближающимся, когда приближаюсь, и улыбающимся, когда я улыбаюсь. Бог, который несет меня и которого несу я, бог, трепещущий верой, бог, опускающий голову.

Я верю в себя.

\* \*  
\* \*

Я не могу спать.

Тем не менее мне не с кем прощаться, уже поздно, все приготовлено, и все же я задыхаюсь в этой пустой комнате, которая дышит только моим уснувшим сыном и мной.

Как он спит...

Я плохо узнаю его, когда он спит и мне нужно приблизиться к нему. Он уснул сейчас же, разметав руки, и так, как его положили... Что можно созерцать более нежного и более хрупкого, чем это маленькое, хрупкое личико с синими жилками и перламутровыми изгибами? Сквозь сон, в потрескавшейся жаре его щек, жизнь работает, и как ясно видно, что она спешит!

Я склоняюсь ближе к золотому пушку, который у него на лбу, к бархатистой теплоте его едва ощутимого дыхания. Как и в другие вечера, я чувствую себя испуганной и восхищенной этой огромной малостью, одновременно пожираемая желанием коснуться его губами... Я откидываюсь назад—не нужно будить его.

Я отошла от колыбели: желание вопрошать уходящее настоящее охватывает меня в этот вечер сильней обыкновенного.

Нет, я не к тебе обращаюсь, дитя мое.

Все то, что бьется во мне лучшего, бог, часть души, это не касается тебя. Я говорю это, быть может, слишком поспешно, быть может, я слишком насмотрелась на пропасть, которая разделяет мое поколение от другого. Между нами обоими, разумеется, пропасть не так глубока, но когда я ищу хорошенько, я не нахожу тебя в глубине моего разума.

Ничто не обещает, что мы действительно когда-нибудь придем к соглашению. Видя тебя, я пребываю удивленной тем, что я была причиной твоей жизни: ведь это чудо—создать существо, которое дышит; я у края расстояния, которое между нами, я не нахожу там тебя. Я ухожу в одном направлении, ты уходишь в другом, и если на свете нет невозможных вещей, наше согласие одна из них: я никогда не достигну твоей высоты.

Трепещущий вопрос, который есть — я, мои действия, их смысл, — ты существуешь для того, чтобы противоречить им, потому что ты должен превзойти их, и ты, которого я носила девять месяцев в моем чреве, ты всегда будешь пред моими влажными глазами, у поцелуев моих губ, только чужим, который уходит, унося мою кровь.

Ты пришел, но я не погрузилась в роковую бездну, в которой тонет мать; это неминуемая ловушка: так трудно бороться со слабостью, которая не умеет говорить. Ради ребенка, пришедшего в мир, желание погасает, и с первого же крика мать в опасности. Это ее нужно было бы



попытаться спасти, ибо нечего опасаться, что наш инстинкт остынет. Скорей остынет земля.

Создать сыновей. Любовь рождается вместе с ними, но любовь недостаточна. И гореть, чтобы выполнить собственное предназначение. И горе, если они отстают.

Спи, мой мальчик...

Я открыла окно, и ночь тотчас же дохнула мне в лицо. В этом внешнем просторе, где тень нага, синяя свежесть протяженности отверзается, как поток. Внизу город сжимает свои дома—темная расточительность, смутная масса и мигающая, сияющая звездами глубина, такая широкая, такая затерянная, что уже не видно хорошо, где кончается небо.

Мои глаза покоятся на черном будущем, собранном у моих ног, и они не в тревоге, ибо я знаю, что заключено в нем. Я знаю, что я сейчас засну, слишком утомленная, и что при пробуждении в белый день мой сын так ласково обовьет мою шею руками; я улыбнусь, потом придет пора уходить. И скрытые дни содержат неведомое... Но всегда и всегда это бывает боль.

Будущее, это не вопрос, который можно задать, это скорбь, ожидающая вас. Она отвечает на все, и каждое мгновение когтит тело. Эхо всего, если хорошенько вслушаться— рыдание.

Это боль. Она не дышит, она не источает крови ни одним криком, она остается привязанной к вам, и ничто не обнаруживает ее, ибо она повсюду так близка и так полна, что никогда нельзя ее ни искать, ни найти. Это не слезы, вцепившиеся в горло, не вздыхающий ветер, не погребальный звон уходящих шагов, траур, который гасит вас, это не сердце в груди, ибо этого было

бы слишком еще мало, и когда она начинается вместе с утренними фанфарами, со своим роскошным солнцем, она еще ужаснее, так как удалена... Это больше, чем все, это иное, чем все. Это мерно, постоянно, как дыхание, удивительно, терпимо, и это еще не последнее сказанное слово, это также первое, и оно возвращается вращением мертвенным и однообразным, и ясно видно, что ему нет имени: это жить.

Так что же? Скорбь человечества?—Нет, это человеческая боль. Бормочущие вечера, шаг, щупающий землю, куда уходим и зачем?—Но нет! нельзя больше терять времени, ты поднимаешься и ты пойдешь, и пойдешь, ибо ты недостаточно еще выстрадала: смотри.

Когда я завтра уйду, унося мою боль на моих плечах, я опять пойду ей навстречу. Я не буду колебаться на пороге комнаты; я больше не скажу себе, как делывала часто, глядя на стены: «Это часть меня самой, прощайте, и так как этот взгляд уходит, дайте, дайте ему ваше изображение».

Боль довлеет сама себе, к ней не приобщают предметов, я уйду, повернув спину, мое тело будет нетерпеливо наклоняться вперед, я больше не люблю воспоминаний.

Ни одного. И даже о вас, мои два мертвеца. Другие умершие находятся дальше, в том месте, куда я иду, или, лучше сказать, другие боли... И ваша боль кончилась, ибо вы мертвы.

Ваши изображения, которые я храню, приходят все реже и реже мне на память. Как я ласкала их первое время! Особенно некоторые. Маленькая станционная платформа, где мы встретились... прозрачное утро расступалось



перед твоими шагами, весна была пьяна... я бежала к тебе, простирая руки... И эта аллея, где я плакала, огни вечера бежали меж ветвей, моя голова коснулась его плеча, как плод, падающий с дерева. И еще... И еще...

Это кончено. Я ношу вас иначе... У меня есть, помимо меня, жесты, которые были вам знакомы, и привычка повторяет их; мой голос наполняется иной раз выражением ваших голосов; я умею также двигать в моем усердии мысли, созданные вами. Если я плохо помню о вас, это потому, что я вами живу, и потому, что то последнее, что вы мне оставили, поднимается и опускается вместе с моим дыханием.

В моем свирепом пережитии я сохранила только то, что служило мне; все остальное искажено, оно не имеет значения для меня. Надо освободиться от этой тяжести мертвых. Мертвые—это живые, которые изменили, и рано или поздно, и—хочешь этого или не хочешь,—их позабудешь.

Я их очень любила, моих, и, как мне казалось, мое существо влеклось к ним, едва они появлялись. И так сильно, и так сильно, господи, что из-за них, когда они исчезли, любовь, которая не исчезает, осталась со мною.

Она провозглашает свой закон, чтобы его обнародовать...

Есть в эту ночь где-то лица, которые спят за меня и для которых у меня есть слова. Я жду их. Я протираю руки, чтобы они воплотились, и я знаю, что они придут, из-за этой потребности объятий и из-за ночи, из-за этого желания ласки, столь тяжкого, что я поднимаюсь одним скачком: словно мне не доставало

половины туловища, я вижу себя опустошенной и ужасающе вдовствующей, и мой рот дрогнул от жажды, от голода по другому рту.

Я знаю, что есть некий мужчина в пути. Я его узнаю. Я найду несколько горькую смелость, необходимую для того, чтобы признаться, огромную, какова я сама. Я возбужу его, я сделаю все: можно дойти до границ величия, которое несешь.

И как только он будет здесь, и прежде всего другого, он ясно заметит, только по одному виду моего лица, что я с давних пор больше не умею лгать.

И вот тогда, под этим первым взглядом человека, которого так хорошо различаешь, когда желание делает его несколько растерянным, углубляет его самого в себя, как радостно быть красивой! Я соберу перед его глазами мое существо, здоровое и живое, мои неисчерпаемые двадцать семь лет, мои округленные руки и ноги, все, что несколько разрозненно, когда отсутствует любовь: вот белокурая жертва, вытянутая и смеющаяся, которую я уже приношу вам... Он узнает, не понимая, что если я немного красивее самой себя, то это потому, что посредством любви становишься подобным любви, которую приносишь.

После того, как он вдоволь наглядится на меня, я объясню ему, что значит каждая черта, я заговорю. Ибо молчание прекрасно после последних слов, и женщине больше есть что сказать.

И если на вид я несколько сильнее других, быть может, немного более молчалива,—это происходит от одиночества. Женщины недостаточно знают, что нужно бышать одной, уйти одной и возвратиться одной, и что



нет никого вне самой себя. Никого. Когда я обрету любовь, я, которая дважды вдова и которая имеет ребенка, чтобы чувствовать себя более одинокой, я найду только новое одиночество. Да, конечно, поцелуи, населенные встречи, симфонию голосов. Но, несмотря на все, буду чувствовать себя одинокой, и каждый день.

Каждый день...

Если бы я дошла собственными силами до этой надежной крепости, я бы очень гордилась. У меня нет заслуги: мои мертвецы дали мне этот сверхчеловеческий и ужасный дар. Ибо наступает мгновение, когда от существа взято то, что можно от него взять, и, само не замечая, оно становится бесполезным, нужно, чтобы оно исчезло. А кто подчинится этому?

Они дали мне любовь, на которую я была способна, внимательную и полную, они дали мне мудрость моей крови, слез и слова. И потом они вернули меня. Они сделали это последнее мановение.

И теперь, когда, увеличенная любовью, я все еще жажду ее, я даю ей ее место: любовь не существенна. Я часто говорила: «Жизнь. Моя жизнь». И это слово приняло форму моих губ, потому что это оно говорит существенное. Любовь, в конце концов, это лишь самый прекрасный миг.

Я призываю их всех, и наименее трепещущие держатся точно так же крепко за корни плоти.

Жизнь хочет стать тем, чем она еще никогда не была. Она готова, она глубока. До сих пор ее наполняли человеческие слова.

«Ничто не изменяется здесь на земле, ничто не может измениться; любовь пребывает из века в век,

смерть была и будет, жизнь та же самая, и человек всегда человек». Чтобы показать то, что они хотели сказать, люди создали слово «вечное».

Я не знаю. Я пришла, я, женщина и, как все существа, я начала с того, что любила. Это было непохоже, клянусь, что это было непохоже, и что жизнь имела иной вкус, и что я несла ее иначе, что это истинно и что моя смерть, подобная другим смертям, не живет той же мыслью.

Я есмь: все изменилось.

И даже если бы я никогда не жила, другие молодые женщины готовы изменить землю. Женщины моего поколения, женщины сегодняшнего вечера, еще неизвестно, что они могут, ибо они еще не знают этого повсюду и совершенно.

Ведь у них осталось тяжелое воспоминание того, что им говорили. Мужчина свиреп в своей любви. Он пал с кровавыми глазами, он пал, как слепой, на лихорадочное ложе, где у побежденного врага полумертвое тело; он принес свое кипящее семя, великую нежность в своих связанных руках. Он был печален и с опущенными глазами, когда он поднялся. Его нежность была утомлена. И он сказал: «Вот женщина».

Это было очень давно. Я не знаю, был он прав или нет. Я говорю только то, что я вижу. Я честна, точна, у меня стальные мускулы, я люблю, чтоб говорили то, что есть, я верна, свободна, я зарабатываю деньги на жизнь, и я упорна против зла: какая истина может быть неузнана, когда она открывает свое лицо?

Я верю. Я хочу. Я знаю.



Нужно было много времени, чтобы собрать те скромные вещи, которые я знаю. Когда я начала, у меня было немного: моя хаотическая молодость. Нужно было много выстрадать. Они не случайны, те истины, которым я следую, я не ограничиваю их, и даже моя смерть не причинит им вреда. Несколько разрозненных лоскутков летают, они вошли в мгновения подвижной мудрости, я охотно приняла их моим сердцем, хранила стиснутыми зубами: я утверждаю.

Справа поднимается ветер. Не он ли гасит золотые точки домов, не делая город темнее?

Он виден, он приближается. И, присутствующая, неподвижная, в моей грузной дремоте, я разделяла с ним мгновения, которые толкают его. Одно за другим. Я теку с ними вместе.

Я ухожу туда же, куда идут они, и только дальше, и моя смерть, может быть, далека от своей цели. Она ушла давно, она остановится в день, когда я больше устану, когда мне ничего не останется делать, когда мое дыхание больше не будет необходимым дыханием. Тогда будет все. Говорят, что умирать трудно. Значит, на свете есть нечто более трагическое, чем жизнь.

Ветер надул все небо, и оно готово упасть с вышины. Ах, как опускается небо! и оно стало таким диким, прилепленным к моему лицу, что я скрестила руки на груди, чтобы встретить его лицом к лицу. Бесконечность, как будто вздущаяся, тоже приближается к домам.

Как знать, что таит она? Сколько я ни шарила в живой глубине пространства, сколько ни вдыхала небо,

грядущие времена вне моего достижения: они не подают никакого знака.

Там, повсюду, я вижу только мое существование. Но как я его вижу! Молниеносное, упорное, полное свободного пространства, оно таится, алое, в моих мускулах, немного бледнеет на горизонте, уходит в беззвездном ветре и возвращается, стремительное, в мои суставы.

Основа ночи опять изменила цвет.

То, что я есть, соответствует, значит, чему-нибудь, что должно быть?

Ветер дует сильнее.

Нет, не даром в этот вечер я вдыхаю тьму, более глубокую, чем во все другие вечера, так, с поднявшимися волосами, сильнее моей силы, и попирая ногами мою жизнь.

Ночь проходит, чистая, как призывающий голос...

Так, значит, нужно будет, скоро, может быть, с рассветом—итти... итти далее, чем всякое странствие, и сквозь пылания существа коснуться более высокого, господи, чем все то, что было сказано, жить до крови, жить больше жизни?..

— Вот я.

Перевод с французского *М. Елагиной*.





## „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

### ВЫШЛИ В СВЕТ:

Каталог Западно-Европейской и Американской Литературы.

Каталог Литературы Востока.

Принципы художественного перевода (Сборн. статей).

„Литература Востока“, сборники 1-й и 2-й.

### ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- |                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <i>Д. Г. Байрон</i>   | — „Драмы“.                                |
| „                     | — „Дон-Жуан“, ч. 1-я и 2-я.               |
| <i>О. де-Бальзак</i>  | — „Крестьяне“.                            |
| <i>Лили Браун</i>     | — „Письма маркизы“.                       |
| <i>Э. Верхарн</i>     | — „Поэмы“.                                |
| <i>Г. Гейне</i>       | — „Путевые картины“, ч. 1-я и 2-я.        |
| <i>В. Гете</i>        | — „Фауст“, ч. 1-я и 2-я.                  |
| „                     | — „Страдания юного Вертера“.              |
| <i>И. Гердер</i>      | — „Сид“.                                  |
| <i>К. Гольдони</i>    | — „Комедии“, т. 1-й и 2-й.                |
| <i>Бр. Гонкур</i>     | — „Братья Земгано“.                       |
| <i>Т. Гоффман</i>     | — „Музыкальные новеллы“.                  |
| <i>В. Гюго</i>        | — „93-й год“.                             |
| <i>Ч. Диккенс</i>     | — „Повесть о двух городах“.               |
| <i>Э. Зола</i>        | — „Западня“.                              |
| <i>Бласко Ибаньес</i> | — „Проклятый хутор“.                      |
| „                     | — „Власть мертвых“.                       |
| <i>Ибн-Тусфейль</i>   | — „Роман о Хайе, сыне Якзана“.            |
| <i>Г. Клейст</i>      | — Собрание сочинений, т. I.               |
| <i>Эсса де-Кейрош</i> | — „Реликвия“.                             |
| <i>Ш. де-Костер</i>   | — „Легенды об Уленшпигеле“, ч. 1-я и 2-я. |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>К. Лемонье</i>                   | — „Завод“.                   |
| „                                   | — „Рог Призыва“.             |
| <i>А. Р. Лесаж</i>                  | — „Хромой бес и Тюркарэ“.    |
| <i>Ляо-Чжэй</i>                     | — „Лисьи чары“.              |
| <i>К. Ф. Мейер</i>                  | — „Новеллы“.                 |
| <i>П. Меримэ</i>                    | — „Театр Клары Газуль“.      |
| <i>Монгольские сказки</i>           | — „Волшебный мертвец“.       |
| <i>Г. де-Мопассан</i>               | — „Милый друг“.              |
| „                                   | — „Сильна, как смерть“.      |
| <i>Новалис</i>                      | — „Гейнрих фон-Офтердинген“. |
| <i>Р. Роллан</i>                    | — „Театр Революции“.         |
| „                                   | — „Трагедии веры“.           |
| <i>О. Уитмэн</i>                    | — „Листья травы“.            |
| <i>Усама Ибн-Мункыз</i>             | — „Книга назиданий“.         |
| <i>Г. Уэллс</i>                     | — „Война в воздухе“.         |
| <i>Г. Флобер</i>                    | — „Воспитание чувств“.       |
| „                                   | — „Саламбо“.                 |
| <i>А. Франс</i>                     | — „Восстание ангелов“.       |
| „                                   | — „Остров Пингвинов“.        |
| „                                   | — „Рассказы“.                |
| <i>Б. Шо</i>                        | — „Пьесы“.                   |
| <i>Антология Китайских Лириков.</i> |                              |

**Печатается и готовится к печати:**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>И. Клейст</i> | — Собрание сочин., т. II.           |
| <i>К. Гоцци</i>  | — „Сказки для театра“.              |
| <i>Д. Дефо</i>   | — „Робинсон Крузе“.                 |
| <i>Э. Зола</i>   | — „Труд“.                           |
| <i>Стендаль</i>  | — „Пармский монастырь“.             |
| <i>Вольтер</i>   | — „Орлеанская дева“, с фототипиями. |



## НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- |                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <i>П. Бенуа</i>       | — „Атлантида“, роман.                         |
| <i>С. Бржозовский</i> | — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев.     |
| <i>Г. Верфель</i>     | — „Человек из зеркала“, пьеса.                |
| <i>К. Гамсун</i>      | — „Соки земли“, роман.                        |
| <i>Г. Гаутман</i>     | — „Зимняя баллада“, пьеса.                    |
| <i>П. Гзель</i>       | — „Беседы А. Франса“.                         |
| <i>О. Генри</i>       | — Рассказы.                                   |
| <i>Г. Гольст</i>      | — Лирические драмы.                           |
| <i>С. Лагерлеф</i>    | — „Гномы и люди“, рассказы.                   |
| <i>Р. Маран</i>       | — „Батуала“, африканский роман.               |
| <i>К. Мейринк</i>     | — „Голем“, роман.                             |
| <i>Ж. Ромэн</i>       | — „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман. |
| <i>Р. Роллан</i>      | — „Кола Бренъон“, роман.                      |
| „                     | — „Пьер и Люс“, роман.                        |
| <i>Дж. Синг</i>       | — „Герой“, пьеса.                             |
| <i>Э. Синклер</i>     | — „Сто процентов“, роман.                     |
| <i>А. Франс</i>       | — „Жизнь в цвету“, роман.                     |
| <i>Г. Уэллс</i>       | — „Неугасимый огонь“, роман.                  |
| <i>К. Эдмид</i>       | — „Шесть притоков“, новеллы.                  |

### Печатается и готовится к печати:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <i>Г. Д'Аннунцио</i>  | — „Ноктюрн“, роман.          |
| <i>О. Генри</i>       | — „Короли и капуста“, роман. |
| <i>М. Метерлинк</i>   | — „Белая невеста“, пьеса.    |
| <i>Р. Роллан</i>      | — „Клерамбо“, роман.         |
| <i>Экспрессионизм</i> | — Сборник статей.            |
| <i>К. Эдмид</i>       | — „Тимур“.                   |
| <i>Ф. Бремер</i>      | — „Туманность Андромеды“.    |

Вышли в свет издаваемые  
„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“  
ЖУРНАЛЫ:

## „СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

КНИГА 1-Я И 2-Я

под редакцией *Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова*  
и *К. И. Чуковского.*

Печатается № 3-й

---

## „ВОСТОК“

КНИГА 1-Я И 2-Я

под редакцией: акад. *С. Ф. Ольденбурга*, акад.  
*И. Ю. Крачковского*, проф. *В. М. Алексеева*, проф.  
*Б. Я. Владимирцова* и *А. Н. Тихонова.*

Печатается № 3-й.

---

### ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

в торговом секторе государственного издательства:

- 1) Москва, Ильинка, Биржевая пл., уг. Богоявлен. пер., № 4.
- 2) Петербург, Проспект 25 Октября, № 28. Тел. 549—32.



